ЕЛЕНА СКРЯБИНА

ЭТО БЫЛО В РОССИИ

ALMANAC - Press

ЕЛЕНА СКРЯБИНА ЭТО БЫЛО В РОССИИ ALMANAC - Press

ЕЛЕНА СКРЯБИНА

ЭТО БЫЛО В РОССИИ

ALMANAC - Press

"It Happened in Russia"

by Helene Scriabine

ISBN 0–935090–02–9

ALMANAC - Press

P.O.Box 480264, Los Angeles, CA 90048

Printed in the United States of America



Елена СКРЯБИНА

Елена Скрябина – профессор Университета в Айове – женщина удивительной судьбы, – достойная восхищения и уважения, как своих соотечественников, так и всех людей на земле, которым дороги идеалы свободы.

Наделенная природой незаурядным талантом, она создала ряд произведений, количеству и качеству которых, мог бы позавидовать профессиональный писатель. Пережитое Скрябиной – в ее произведениях, в документальных повестях и рассказах написанных автором.

Трудности и лишения, выпавшие на долю автора, не сломили ее. Елена Скрябина нашла в себе силу и мужество поведать людям с документальной точностью, на примере своей семьи, о жизни и страдании населения огромной страны, которая вот уже более 60 лет является источником многих бедствий не только для своих подданных, но и для народов всего мира.

Елена Скрябина не пытается анализировать причины этого явления, она не ставит перед собой эту задачу, оставляя ее историкам, психологам, философам, политикам и т.п. Она как добросовестный и талантливый повествователь оперирует только фактами; она как бы

художественно фотографирует действительность во времени, оставляя специалистам общественных наук и читателям возможность обобщать, анализировать и делать выводы из этой величайшей трагедии России.

Елена Скрябина, пережив 9 месяцев блокады Ленинграда была эвакуирована с двумя детьми на Кавказ, в Пятигорск, куда в 1942 г. вошли немецкие войска.

В 1943 году она была послана в лагерь восточных рабочих (ostarbeiter) в Бендорф, на Рейне. Там она оставалась до 1945 года – до прихода союзных войск (американцы, французы). С 1945 по 1950 работала во французских организациях и в 1950 г. переехала в США. С 1951 по 1953 г. преподавала русский язык в г.Сиракузы. Там же поступила в Университет и 3 года работала над получением докторской степени. В 1960 году была принята в Университет города Айовы на должность "assistant professor". С 1963 года начала литературную деятельность.

Первая книга Елены Скрябиной была издана на французском языке в Париже.

В 1964 году издательство "Harper & Row" в Нью Йорке издало короткие рассказы Елены Скрябиной. В том же 1964 году вышла в Мюнхене (ФРГ) на русском языке книга "В блокаде".

В 1965–1967 годах вышли три книжки, предназначенные для студентов, изучающих русский язык и русскую литературу: "Грамматика", "Краткая история русской литературы" и "Рассказы".

В 1971 году в издательстве "Southern Ill. University Press" выходит еще одна книга Елены Скрябиной на английском языке.

В 1972 году в Мюнхене (ФРГ) на немецком языке выходит книга Елены Скрябиной "Ленинградский дневник", а в 1976 г. в Париже на русском языке – "Годы скитаний".

В 1976 году в Мюнхене автор публикует на русском языке рассказ "Пять встреч". В октябре 1978 года в издательстве "Southern Ill. University Press" вышла книга Елены Скрябиной "After Leningrad". В 1980 году в этом же издательстве выйдет еще одна книга автора.

Некоторые книги автора были переизданы массовым тиражом.

В настоящее время Елена Скрябина живет в Iowa City и пишет о всем пережитом ею после ее переезда в Америку.

Публикуя "Это было в России" издатель глубоко уверен, что Елена Скрябина еще неоднократно порадует читателя своими умными и талантливыми книгами.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Немного людей из нынешнего поколения россиян испытало столь длительную, трагическую жизненную эпопею, как Елена Скрябина. Впервые об этом поведали читателю ее дневники "Годы скитаний", рассказавшие о жизни семьи Скрябиной в период ленинградской блокады.

Затем вышла в свет вторая книга о немецкой оккупации России, закончившаяся для автора расставанием с ее Родиной. И теперь перед Вами читатель, третья книга, завершающая трилогию, хотя описываемый в ней период предшествует по хронологии сюжетам двух предыдущих книг — от последних предреволюционных годов России до воцарения в ней большевистского режима.

Отец Скрябиной депутат правой фракции Государственной Думы, был чрезвычайно консервативных политических взглядов, хотя и весьма активно проявил себя, в короткий, к сожалению, период возникновения парламентарной системы в России /1905—1917 гг./. После 1917 года он присоединился к Белому движению и активно боролся против большевизма.

Через несколько лет он скончался в эмиграции, в Париже.

Елена Скрябина, живя в большевистской России, чудом убереглась от многочисленных "чисток", в первую очередь нацеленных на уничтожение остатков старой русской интеллигенции. А затем последовали годы ленинградской блокады, немецкая окупация... И короткие проблески казалось бы светлых дней, случавшиеся, к примеру, в годы сталинского террора, вновь сменялись длительными периодами тяжелейших физических и духовных испытаний.

И счастье автора, что попадались на ее жизненном пути люди, иногда даже принадлежавшие к коммунистической партии, которые пытались, разумеется втайне, помочь ей выжить.

Книга Скрябиной особенно ценна и тем, что фоном событий, описываемых в ней, является Россия 20—30-х го-

дов, столь мало известная нам до самых последних лет. Только в конце 60-х и в 70-х годах диссидентское движение внутри страны каким-то образом привлекло, наконец, внимание Запада к условиям жизни в послесталинский и послехрущевский период.

Скрябина наблюдала жизнь как-бы со стороны, она не находилась в центре происходящих в стране событий.

Единожды только ей довелось встретиться с молодым человеком, делавшим "советскую карьеру", который оказался впоследствии Премьер-Министром Советского Союза, но автор в то время была слишком апполитична и Косыгин никак не остановил на себе ее внимания.

Книги Скрябиной приводят читателя к нынешнему периоду жизни автора, когда она, профессор университета в Айове посвятила себя преподавательской и писательской работе.

И книги эти, – памятник мужеству и выдержке русского народа, без которых он не был бы способен перенести тяжелейшие испытания, выпавшие на его долю по воле тиранов, правящих им.

Харрисон Е. Солсбери

ДЕТСТВО

Моя семья: отец, мать, два брата и я, самая младшая, – жили в описываемое мною время в Нижнем Новгороде (теперь Горький).

Старший брат, Василий, уехал в Петербург, поступив на юридический факультет Петербургского университета, и жил у тети, маминой сестры.

Каждую зиму мы проводили в Нижнем, а в конце мая, в начале июня, когда братья кончали заниматься в Нижегородском дворянском институте, мы всей семьей уезжали в имение "Оброчное" Лукояновского уезда. Хотя мне всегда немного грустно было покидать наш уютный городской дом и, особенно, любимый мною сад, но Оброчное с громадным парком, прудом и белым домом с колоннами представляло собою что-то еще более заманчивое и романтическое.

Ранней весной этого года я случайно услышала разговор родителей, крайне меня смутивший и огорчивший. Мать говорила о том, что надо сделать все необходимые приготовления к нашему переезду в Петербург.

Помню хорошо, какое это на меня произвело впечатление и, хотя дети обычно любят перемены, скорее весьма неприятное. Я бросилась со слезами к матери, умоляя ее не покидать Нижнего Новгорода, любимого мною дома и сада.

Спокойно выслушав мои излияния, мать ответила, что отец выбран в Государственную Думу, что это очень важное обстоятельство, которое и заставляет нас с будущей осени основаться в Петербурге.

Все ее объяснения никакого впечатления на меня не произвели.

Петербург казался мне чем-то далеким, холодным и незнакомым. Нижний же, с великолепной Волгой и "от-

косом", прогулки куда предпринимались мною и няней почти каждый день, казался мне таким любимым и дорогим, что я никак не могла постичь возможности подобной разлуки.

Большой приманкой в Нижнем служила и знаменитая ярмарка, открывавшаяся в осенние месяцы, где отец задаривал меня медовыми пряниками и другими сладостями, привозимыми из всех городов нашей страны.

Зимой в нашем саду дворник устраивал ледяную гору, замораживая специальные "ледянки", и мы, все дети, с наслаждением на ней катались.

Кроме того, все мои друзья – мальчики и девочки моего возраста жили в Нижнем и часто у нас собирались.

Особенно весело мы проводили Рождество, когда в большой гостиной устанавливалась огромная елка.

Обычно мы, все дети, ждали в соседней комнате, пока двери не откроются и лакей Петр, в черном фраке и белых перчатках, не заявит торжественно: "Милости просим".

Ослепленные огнем десятка свечей, бесчисленными золотыми и серебряными игрушками, позолоченными орехами, яблоками и конфетами в разноцветных бумажках, мы вливались из столовой веселой гурьбой и на время замирали, не скрывая произведенного на нас впечатления.

Теперь мне казалось, что всему пришел конец.

И что это за Государственная Дума, которая требует присутствия моего отца? – было мне совсем непонятно.

Не получая более подробного объяснения от матери, я отправилась к няне – моему вечному прибежищу в тяжелые минуты жизни. Няня уже знала о готовящихся переменах и относилась так же, как и я – неодобрительно. Погоревав вместе, она все же успокоила меня тем, что переедем еще не скоро, предстоит еще чудная весна в Нижнем с нашими любимыми прогулками на "откос" и катаньями по Волге. А дальше месяца три в Оброчном, где, согласно обещанию отца, я получу в подарок лошадь и меня будут учить верховой езде.

На время горе мое было забыто.

То лето — 1912 года, было для меня полно самых интересных переживаний. За несколько недель до отъезда в деревню, по данному в газетах объявлению, к нам ежедневно стали являться молодые и средних лет особы, желающие поступить в качестве учительницы французского языка, каковому мне предстояло обучаться. Это было громадным развлечением не только для меня, но и для братьев. Семнадцатилетний Павел и пятнадцатилетний Георгий выскакивали на звонки и, притаившись за дверью, рассматривали кандидаток в гувернантки. После ухода каждой из них, они врывались к матери в гостиную и давали ей всевозможные советы.

Плохо приходилось пожилым и некрасивым.

Через неделю непрерывных посещений и обсуждений, выбор единогласно пал на прелестную молодую француженку из Лиона, Ивет Делакруа. Мать была вполне довольна представленными ею рекомендациями, братья же и я ее молодостью и привлекательностью.

Пятого июня мы всем семейством, с приехавшим из Петербурга братом Васей и новой гувернанткой, отбыли в Оброчное.

Самым крупным событием этого лета должна была быть свадьба дяди Николая, младшего брата моего отца, на двадцатилетней курсистке Бестужевских курсов Ольге. Никак не понимая почему, я все же замечала, что бабушка не переносит невесту сына. Только спустя некоторое время, из разговоров взрослых, до меня дошло, что бабушка вообще против "эмансипированных женщин".

Ольга, очень самоуверенная, на мой взгляд очень красивая, довольно-таки свысока относилась к окружающим и часто вступала в споры со всеми, включая бабушку. Основным вопросом их дискуссий было положение женщины в современном русском обществе. Ольга говорила громко, резко и несколько в нос (что, кстати, очень раздражало бабушку).

Ольга Алексеевна (так звали бабушку) была во всем

старого уклада и считала, что место женщины в детской, кладовой и даже кухне, а все эти женские курсы и высшее образование не "ихнего ума дело". Спорить с ней было трудно, никто не решался, даже сыновья. Ольга же не задумывалась, доказывая свою правоту.

Из разговоров няни и прислуги я заключила, что свадьба может не состояться. Меня это очень огорчало, так как, во-первых, Ольга мне очень нравилась, а, кроме того, было, по-моему, совсем неплохо обзавестись новой, да еще "образованной" теткой. Она вносила какой-то совершенно другой дух в атмосферу нашей старинной усадьбы.

Это первое соприкосновение с молодой женщиной, жившей другими интересами, чем домашнее хозяйство, сказалось впоследствии на моей жизни. Когда шестнадцати лет, по окончании средней школы, я мечтала поступить в техникум, чтобы стать инженером (против желания матери), образ Ольги всегда витал в моем воображении и служил примером.

Кроме личной симпатии к Ольге, была и другая причина, волновавшая меня в случае, если свадьба не состоится. Я уже раньше видела и слышала, как празднуются свадьбы в деревнях. Перспектива ехать на украшенных бубенцами и цветами тройках в церковь очень привлекала меня. А затем, без вечного присмотра взрослых (которым будет не до нас), с двоюродными братьями и сестрами присутствовать на обеде, рассчитанном чуть ли не на 100 человек. Соседей и родственников, долженствовавших принять участие в этом празднике, было несметное количество.

К счастью, мои опасения не подтвердились и 24-го июля (в день именин бабушки и Ольги) была бурно отпразднована свадьба.

На всю жизнь запомнились десятки троек, нарядные кучера в разноцветных поддевках, подпоясанные цветными кушаками и соперничавшие друг перед другом в красоте и скорости принадлежавших их господам троек.

Нарядная толпа гостей, бесчисленные букеты цветов, торжественная служба в церкви, а затем великолепный ужин и, особенно поразивший меня, стол, весь заставленный закусками.

Вторым крупным событием этого лета был подарок отца. Прекрасная гнедая кобыла – "Мусмэ" была полностью предоставлена в мое распоряжение. Мне сразу же стали давать уроки верховой езды. Моим обучением руководил Павел – прекрасный ездок, обожавший лошадей. Сначала он посадил меня на казацкое седло, считая это более безопасным, но уже скоро я получила новое, скрипучее, пахнущее новой кожей, великолепное дамское седло. Соответствующий костюм был немедленно сшит, шляпа с вуалью куплена, и моей гордости не было предела. Лошадь была смирная, хорошо обученная. Вскоре уже я стала ездить на пойме за домом по специально устроенному, сравнительно большому кругу. Сопровождал меня или брат Павел или мальчик-конюх, чтобы я не была одна.

Почти каждый праздник в имение съезжались гости, и тогда Павел приглашал всех на наш "ипподром" и демонстрировал мои успехи. В Оброчном всегда было весело. Имение разделялось большой дорогой на две половины – старая часть принадлежала бабушке. Дом в этой части был деревянный, с массой комнат и комнатушек, без всяких удобств, но очень уютный, полный каких-то особенных запахов и звуков. Так он и назывался – "старый дом". Наша же часть имения, половина "молодого барина", была совсем в другом роде. Дом – белый, каменный, с колоннами, всем был известен, как "новый дом". В нем было все, что требовалось для полного комфорта современной жизни, вплоть до двух ванных комнат (роскошь редкая в те времена), и громадной террасы с видом на пойму. Моя мать, любившая красивые виды, велела вырубить часть сада, чтобы открыть вид на зеленые луга и реку. В доме было гораздо меньше комнат, чем в старом, но зато было предусмотрено все. Было удобно и даже

элегантно.

Мне особенно нравился парадный подъезд: асфальтированное возвышение, ведущее к парадному крыльцу, по которому с шумом подкатывали тройки гостей. К моему сожалению, большинство гостей все же проезжало мимо нас, в бабушкину часть.

Бабушка объединяла всех вокруг себя. В то время ей было немного больше семидесяти лет, и она еще бегала с многочисленными внуками и внучками в ''палочку-воровочку'' или играла на рояле веселые вальсы и польки, заставляя всех, ''от мала до велика'', танцевать под ее аккомпанемент. Все ее обожали, но и побаивались. Нрава она была крутого, но отходчивого. Воспитала нескольких девочек-сирот, готовя их в горничные в ''хорошие дома'', как она выражалась. В случаях ослушания, она не задумывалась принимать физические меры, давая подзатыльники и пощечины.

Когда я впервые увидела, как она звонко шлепнула по щеке мою любимицу Симу, с которой я каждый день играла, я, по своему обыкновению, разразилась потоком слез. Бабушка, быстро отошедшая от своего приступа гнева, была смущена моей бурной реакцией. Звеня ключами от кладовой, она поторопилась уйти и появилась опять, нагруженная изрядным количеством пастилы и мармелада (моих любимых конфет), которыми щедро наградила нас с Симой. Симу, по-видимому, за перенесенное наказание, меня же за выраженную симпатию. В результате Сима, которая и раньше-то не думала плакать, теперь старалась только успокоить меня. Я же, запихивая в рот любимую пастилу, продолжала всхлипывать.

Каждое утро все дети родных и знакомых, находившихся в это время в усадьбе, шли первым долгом в ''старый дом'' здороваться с бабушкой. Это происходило точно в 9 часов утра. Бабушка всегда уже была готова и сидела в кресле в столовой. Около нее стояли две корзины с шоколадом, орехами и другими, соблазнительными для детей, яствами. Она щедро нас наделяла, предупреждая

воздержаться до обеда, что, конечно, никогда нами не исполнялось, но на наши аппетиты не отражалось.

Мне нужно было всегда обедать в "новом доме". Закончив сладкое, я, в сопровождении братьев, торопилась в "старый дом", где обед начинался, как правило, с опозданием. Таким образом, мы успевали начать все сначала. Мать моя возмущалась и выговаривала нам за подобное поведение, но вскоре махнула рукой, и мы беспрепятственно бежали на всех порах в гостеприимный бабушкин дом. В те времена у меня был друг моего возраста – Павлуша (сын сестры моего отца), с которым мы были неразлучны; у братьев же кузины, с которыми они флиртовали.

Уже в августе веселое летнее настроение стало спадать. Между родителями участились разговоры о переезде в Петербург, о необходимости позаботиться о снятии квартиры и так далее.

Последнее хорошее, что ожидало в этом году – был день именин отца – 30-го августа. В этот день, обычно, съезжалось не меньше гостей, чем 24-го июля, когда праздновала бабушка.

Но в этом году именины отца прошли менее оживленно, чем в предыдущие годы. Гости съехались все солидные: соседи и разные чиновники, которые усердно поздравляли отца с его новой карьерой в Государственной Думе. До сих пор не понимая хорошо, что означало это таинственное учреждение, я уже от всего сердца ненавидела эту Думу.

Кто совершенно не принимал участия в моих тревогах и огорчениях – был брат Вася. Он искренне радовался переезду, благодаря которому освобождался от опеки строгой тетки и мог жить среди своих, особенно с братом Павлом, которого он очень любил.

Настроение Васи разделяла веселая, хорошенькая Ивет. Она только и мечтала о Петербурге, нашептывая няне о всех его прелестях. Ивет, ехавшая с нами, на зиму возвращалась на свое прежнее место, в семью богатого Петербургского фабриканта, проводившую это лето заграницей. Свой

летний отпуск моя милая француженка использовала, поступив к нам.

Рассказы ее подействовали на няню, и последняя совсем примирилась с перспективами нашего переезда.

Ярым противником Петербурга оставалась я одна.

Закончилось лето. Наступили дождливые дни, стало раньше темнеть. Отъезд был назначен на 10-ое сентября. Братья с отцом уехали раньше, чтобы все приготовить к нашему переезду и не пропустить начала занятий.

Георгий был принят в Императорский Александровский лицей, Павел же, по примеру старшего брата, поступил на юридический факультет. Суматоха укладки гнала меня из дому. Ездила верхом и бегала по саду и лугам в сопровождении Ивет. Няня же помогала матери, вместе с остальной прислугой, укладывать огромные сундуки с нашим имуществом.

ПЕТЕРБУРГ

Дождливым осенним утром поезд подходил к Петербургу. Тянулись сосновые леса, болота. Я стояла у окна в коридоре и мне было грустно.

С какой радостью каждый год я возвращалась в Нижний Новгород, ко всем моим друзьям, в свою уютную светлую детскую комнату. За окном этой комнаты был непроезжий, довольно узкий переулок, по которому бродили женщины—торговки молоком, овощами и ягодами. Громкими, нараспев, голосами они зазывали покупателей. Кроме них часто заходил татарин (князь, как в Нижнем их называли), скупая старые вещи. Но самым главным моим развлечением был шарманщик с попугаем. Я забиралась на широкий подоконник и, по окончании его репертуара, бросала ему в шапку медные монеты, которыми меня всегда снабжал отец.

Всего этого больше не будет. Серое небо и плывшие по небу тучи еще более наводили тоску. Хотелось плакать. Стыдно было только стоящей возле меня и весело щебечущей Ивет, которая так и рвалась в этот таинственный и непривлекательный для меня Петербург. Мне казалось, что и моя мать разделяст настроение француженки. В Петербурге она провела всю свою юность и сохранила об этом времени самые наилучшие воспоминания.

Когда поезд остановился, к нам подошла оживленная группа. Отец с братьями, моя тетя (сестра матери) с сыновьями и дочерью. Все, видимо, были в прекрасном настроении и довольны нашим приездом. Братья окружили меня, обнимали, целовали, наперебой рассказывая, какие интересные вещи меня ожидают и какие необыкновенные подарки мне приготовил отец. Зная его щедрость, я предвкушала удовольствие.

Наняли извозчиков и двинулись на Пантелеймоновскую

улицу, где находилась нанятая отцом квартира. Несмотря на то, что дождь перестал, было очень мрачно и серо. От Николаевского вокзала (как он тогда назывался) до Пантелеймоновской было не больше пятнадцати минут езды, но мне казалось, что мы тащимся вечно.

У пятиэтажного серого дома остановились. Лифт был крошечный. Двое с трудом помещались. Пропустив родителей, мы двинулись на пятый этаж пешком. Квартира из восьми комнат, длинного узкого коридора, кухни и двух комнат для прислуги, что я немедленно осмотрела, никакого впечатления на меня не произвела. Особенно же огорчила меня моя комната — длинная, узкая и даже кривая. Ничего общего не имела она с моей, такой светлой, просторной, Нижегородской детской. С трудом удерживая слезы, я начала разворачивать ожидавшие меня пакеты, и это занятие несколько отвлекло от неприятных впечатлений.

С этого дня началась для меня, как и для всей нашей семьи, совершенно новая жизнь. В Нижнем Новгороде мой отец, как предводитель дворянства Лукояновского уезда и земский начальник, или бывал в отъезде или проводил время дома. Здесь же с утра и до шести вечера он ежедневно отправлялся в Государственную Думу. Возвращался обычно страшно возбужденным и, пока не утихал за обедом, кричал и шумел на весь дом. Тогда я никак не могла понять, что именно ему так не нравилось на новой службе. Спрашивать было не у кого. Братья отвечали, что я еще мала и все равно ничего не пойму, спросить мать как-то не решалась, а няня понимала не больше моего. Только спустя много лет все стало ясно. Отец, крайне правый, столкнулся в Думе с людьми различных партий, свободно высказывавших свое мнение, что казалось ему просто оскорбительным для обожаемого им государя.

В те времена все это было совершенно мне неясно и только огорчало и волновало это вечное недовольство, как мне казалось, самим Петербургом и переменой в нашей судьбе.

"И чего только все его поздравляли с новой службой, лучше бы сами ехали, а мы бы остались в Нижнем", – сетовала я няне. Она вполне со мной соглашалась. Несмотря на все восторженные отзывы Ивет в Нижнем нам обеим жилось много лучше. Здесь даже великолепный Летний сад, с его многочисленными аллеями, памятником дедушке Крылову, домиком Петра 1-го и мраморными статуями, казался хуже нашего "Откоса" и любимой Волги.

Незаметно подошло Рождество. По примеру прошлых лет, родители хотели устроить для меня елку и пригласить детей моего возраста, со многими из которых я уже была знакома. Я получила несколько приглашений на праздники, так что первые дни были разобраны, и родители решили устроить елку у нас на четвертый день.

С покупкой дерева не спешили. Они привыкли, что в Нижнем нам обычно привозили на дом знакомые торговцы. Здесь же вышла большая неприятность. Когда в сочельник поехали на елочный базар, то елок нужного размера и вида не оказалось. Вернулись ни с чем. Моему отчаянию не было границ. Мать начала всем звонить, надеясь что кто-либо выручит или даст хотя бы хороший совет. Все было напрасно. И только на второй день Рождества, когда я уже потеряла всякую надежду на то, что у нас дома будет елка, позвонил двоюродный брат, молодой офицер, и предложил на другой день привезти елку, которая была устроена в офицерском собрании для солдат их полка. Предупредил, правда, что солдатам, по окончании празднества, разрешается срывать с елки сладости и хлопушки. После их нашествия дерево выглядит жалким и обтрепанным.

Рассуждать не приходилось, рады были согласиться на все.

Долго я помнила тот момент, когда несколько солдат внесли знаменитую елку в нашу квартиру. Много веток было сломано, и дерево действительно имело плачевный вид. Братья утешали меня, что они приложат все усилия, дабы исправить нанесенный дереву урон. Я не особенно

доверяла и ждала с трепетом вечера, когда соберутся все мои маленькие гости.

Когда же в назначенный день и час десятки приглашенных детей, ожидавших открытия дверей в кабинете отца, ворвались в гостиную, то все замерли от восторга, а я не поверила своим глазам – настолько чудесная картина представилась нам.

По-видимому, мать и братья приложили большие усилия, чтобы придать ободранному дереву такой исключительно красивый вид.

После Нового Года, по приглашению семьи Сабуровых, у которых были две девочки моего возраста, родители забрали меня, и мы на несколько дней уехали в Павловск – прелестный городок с его дворцом и парком, утопающим в это время года в глубоком пушистом снегу.

Сабуров был смотрителем дворца. В его распоряжении находились прекрасные лошади и экипажи. Предпринимались поездки по всем окрестностям: Царское, Пулково, Гатчина. В самом парке были устроены громадные ледяные горы, на которых мы с увлечением катались. Совершали также прогулки пешком по расчищенным аллеям замечательного парка. Здесь я впервые испытала удовольствие от зимних поездок тройкой – гусем.

1913 год был знаменательным. Ожидались большие празднования по случаю трехсотлетия дома Романовых. Отец, как член Думы, получил приглашение на устраиваемый во Дворце бал, где должна была присутствовать вся царская семья. В городе готовились к различным торжествам, иллюминациям и фейерверкам.

В назначенный день, во время церковной службы, в Казанском Соборе произошел неприятный инцидент. Родзянко, председатель Думы, заказал места для членов Думы в первых рядах, неподалеку от царской семьи. Когда он подошел к дверям собора, стража предупредила его, что какой-то крестьянин в шелковой рубашке и высоких кожаных сапогах прошел в первые ряды и, несмотря на все убеждения охраны, не желает выйти. Родзянко

моментально понял, кто этот нежелательный гость. Ненавидя Распутина и разъяренный непослушанием, он применил физическую силу и выпроводил его из церкви.

Этот случай несколько испортил настроение моих родителей. И только вечером, когда в заказанной отцом карете мы медленно двигались среди тысячи экипажей, и нашим глазам представилась феерическая картина сияющего бесчисленными огнями красавца-города, они забыли неприятный утренний инцидент и вместе со всеми нами восхищались праздничным Петербургом.

Родители готовились к балу, который должен был состояться весной.

Мать заказала платье из белой парчи с вытканными серебром розами на бледно-розовом чехле. Я видела первую примерку и не могла прийти в себя от красоты материала. Мать тоже была очень довольна и радовалась предстоящему балу. Отец подарил ей к этому дню браслет из разноцветных сапфиров, что тогда было большой новинкой. (Впоследствии, в Симбирске, этот браслет, обмененный на соль, муку и жиры, спас нас от господствующего в Советском Союзе голода).

ПЕРВОЕ ГОРЕ

Казалось, что все идет хорошо. Братья учились, особенно Вася был выдающимся по способностям,как в занятиях на юридическом факультете, так и в своей карьере музыканта. Он играл не только дома, но даже стал выступать на концертах. Павел брал прилежанием. Георгий учился и жил в лицее. Только по праздникам бывал дома.

Родители много говорили о политике, царской семье, о Распутине и болезни маленького наследника. Порой же, особенно мать, мечтали о предстоящем бале. Они знали, что там им предстояло увидеть весь двор.

В марте неожиданно заболел Вася. Почти ежедневно стал бывать наш домашний врач и сначала ничего серьезного не находил, говоря, что это обычная инфлюэнца.

Первые дни болезни Вася принимал массу друзей и знакомых, приходивших его навещать. Был очень весел и много, по обычаю, острил. Из его комнаты раздавался непрерывный смех. Я любила туда забираться и слушать разговоры взрослых до тех пор, пока братья меня не выживали.

Чем дальше, тем становилось хуже. Лицо Васи покрылось желтизной, и настроение заметно упало. Домашний врач не на шутку перепугался и стал просить вызвать известного профессора. Мне запретили входить в комнату больного. Павел перестал посещать университет и проводил все дни у Васиной постели. Гости стали редким явлением. Старик профессор приезжал часто и настоял на консилиуме из нескольких специалистов. Оказалось, что болезнь Васи была еще совсем незнакомой медицинскому миру Петербурга. Доктор сказал матери, что это был третий случай за этот год. Консилиум не помог, ни к какому заключению врачи не пришли. Вася лежал изжелто-бледный, мрачный. Настроение всей сёмьи падало день

ото дня.

Между тем весна уже чувствовалась в Петербурге. Снег еще не совсем сошел, но уже стали появляться на Невском проспекте первые торговки цветами. Няня надолго уводила меня из дому, и мы бродили часами по Набережной Невы, любуясь двинувшимся льдом или заходили в Летний сад, который начинал приобретать весенний вид. Многочисленные статуи были освобождены от своих зимних одежд — деревянных ящиков, спасавших от снега и льда. Дорожки чистили, а детвора окружала памятник "Дедушки Крылова" и гудела словно пчелиный рой. На лоне преображенной весной природы забывалась тяжелая атмосфера нашей квартиры.

Мы подолгу задерживались на Литейном проспекте, отличавшемся особенно красивыми витринами. Я выбирала себе пасхальные подарки. Меня всегда пленяли яички из разных драгоценных камней, которые я, как правило, получала ежегодно к Пасхе от родителей и родственников. Моя коллекция превышала уже несколько десятков. Теперь я показывала те, которые хотела получить в этом году.

В конце марта, утром, я проснулась в самом радужном настроении, разбуженная солнечными лучами, проникавшими в комнату из-за тяжелой портьеры и затопившими всю мою "кривую" комнатку, к которой я уже привыкла. В эту ночь мне снились особенно хорошие сны и, будучи еще под их впечатлением, я не сразу вспомнила, что дома не все благополучно, что Вася болен, и вчера опять состоялся консилиум из нескольких докторов. Странный шум в доме заставил меня быстро вскочить. Няни не было в комнате. Испуганная, я выбежала в коридор и почти столкнулась с людьми, несшими на носилках нашего Васю. Мне бросилось в глаза его худое, желтое лицо и заострившийся нос. Выделялись его гладко причесанные изсиня-черные волосы. Мне стало жутко. Показалось, что Вася уже умер. За носилками шли родители. В этот вечер мы с няней были одни дома. Отец и мать так и не вернулись. Няня сказала мне, что они

остались в больнице, куда увезли Васю. Георгий был в лицее, а Павел куда-то исчез на весь день. Потянулись тоскливые, полные страха дни.

Отец заезжал ненадолго, потом опять исчезал, не то в Думу, не то в больницу. Никто его ни о чем не расспрашивал, да он был в таком настроении, что вопросы никому на ум не приходили. Павла почти никогда не было дома. Все шло как-то вверх дном, все выбились из обычной колеи.

Над нами точно туча повисла — такая была сгущенная, грозовая атмосфера.

Однажды солнечным утром, няня будит меня и говорит, что мать вернулась домой и, что я могу, как всегда раньше, пойти в 9 часов разбудить ее. Я еле дождалась указанного времени. Ровно в 9 сидела уже на постели матери. Она еще спала каким-то тяжелым, необычным для нее сном. Меня поразило то, что она резко изменилась за этот короткий срок, что я ее не видела. Стало страшно. В ее похудевших чертах мелькнуло сходство с больным Васей. Открыв, наконец, глаза и увидев меня, она как-то особенно спокойно и бесчувственно сказала: ”Васеньки у нас больше нет, его взял Господь на небо”...

Я не могла произнести ни слова, не могла осознать случившегося. Вася — двадцатилетний красавец, весельчак, способный и любимый всеми — не будет больше с нами. Ушел куда-то в неизвестность.

Через минуту я разразилась отчаянными рыданьями. Мать не плакала, смотрела на меня отсутствующими глазами и даже не старалась успокоить.

Это было моим первым, настоящим тяжелым горем.

И вот теперь все сразу, все, что ожидалось с таким нетерпением, рухнуло. О бале в честь Романовских торжеств для моих родителей не могло быть и речи. Весна и наступающий праздник Пасхи — наш самый большой праздник в году — никого больше не радовал.

После панихиды в маленькой часовне, поблизости Таврического сада, гроб с останками Васи был водружен на

погребальную колесницу, и семья, сопровождаемая целой толпой друзей-студентов, родственников и знакомых, двинулась к Николаевскому (теперь Октябрьскому) вокзалу, откуда в тот же день гроб должен был быть отправлен на станцию Оброчное, где, в фамильном склепе, уже почти двадцать лет была похоронена моя старшая сестра.

Мать, отец и братья уехали на похороны, я же с няней осталась у тети, у которой еще всего год назад жил брат Вася. Васю похоронили в вышеуказанном склепе, в котором он пролежал семь лет. В 1920 году пьяная орава нагрянула в нашу Оброченскую церковь, сняла колокола, забрала иконы и, подхватив откуда-то слух, что в фамильном склепе хоронили покойников в золоте и серебре, вскрыла тяжелые мраморные плиты и вынула всех из гробов. Не найдя никаких сокровищ и, видимо, обозлившись, рассовала покойников по чужим могилам. Эти пьяные бандиты почему-то решили положить Васин скелет в гроб недавно скончавшегося старика—управляющего нашим бывшим имением. Скелет Васи был длиннее гроба старика. Не задумываясь долго, отрубили ноги и, засунув останки в гроб, покрыли могилу землей.

Это мне, спустя десять лет по смерти Васи, рассказывали присутствовавшие при этом кощунстве жители Оброчного. (Мама об этом так никогда и не узнала).

В тот год я провела самую тоскливую Пасху в моей короткой жизни. Тетя и ее дети всячески старались развеселить меня, но я только и ждала с нетерпением возвращения родителей и братьев. Ни весна, ни чудная погода, ни милое отношение родственников — ничто меня не радовало.

С приездом всей семьи нас с няней взяли домой.

Пора было готовиться к отъезду на лето в деревню. В этом году исполнилось 25 лет со дня свадьбы родителей. Еще с осени Вася придумал нам вчетвером сняться и подарить портрет в годовщину свадьбы. Почему-то мы так и не собрались до его болезни. Теперь Павел, все-таки, предложил нам поехать к фотографу и сделать портрет. Ника-

кими силами фотограф не мог заставить нас принять веселый вид. Мы так и вышли все трое со скорбными лицами. Когда летом мы дарили этот портрет родителям, я заметила слезы в глазах матери. Кажется, это был самый неудачный из всех, сделанных нами когда-либо, подарков.

В конце апреля мать опять дала объявление, что на этот раз ищет для меня немку. Вся процедура приема гувернантки проходила совсем иначе, чем год тому назад, в Нижнем, когда всем было так весело.

Мать выбрала почти первую появившуюся в доме, молодую немку по имени Ингеборг. Братья ничем не интересовались, да и я была совершенно равнодушной. Со смертью Васи у нас словно какая-то трещина образовалась в семье. Все стали безразличными. В мае выехали в Оброчное. По пути я стремилась разговаривать с моей новой гувернанткой, но познания мои в немецком языке были весьма слабыми и оживленного разговора не получилось.

Когда мы, наконец, приехали домой, Павел решил блеснуть и вместо того, чтобы сказать: "Вир зинд гекоммен" (мы приехали), он объявил: "Вир зинд гешторбен" (мы умерли). Немка, не говоря ни слова, только дико на него посмотрела. После веселой, остроумной хохотушки Ивет, она, несмотря на довольно красивое лицо и молодость, казалась нам непривлекательной из-за холодного тона и присущей ей сдержанности.

Скоро жизнь как-то снова вошла в свою колею. Не было только прежнего веселья и безмятежной радости, которыми отличалась наша деревенская жизнь.

Меня постигло второе горе в моей коротенькой жизни. Мать пришла к заключению, что я плохо учусь иностранным языкам, ибо предпочитаю болтать с няней, а не с гувернантками. Да и они скорее учатся русскому, вместо того, чтобы побуждать меня говорить на том или ином иностранном языке. Так было и с Ивет, тоже происходило теперь с Ингеборг.

Мамино заключение явилось для меня полной катастрофой. Няня должна была покинуть наш дом и пересе-

литься к родителям в село Оброчное. Я была теперь предоставлена исключительно своей новой учительнице, с которой хорошие отношения у нас никак не налаживались.

Бабушкины и мои именины не внесли обычного оживления.

Родители что-то начали часто ссориться, и я несколько раз слышала, что мать пророчила нашей семье полное разорение, если отец будет продолжать так же действовать, как до сих пор, и не примет срочных мер, чтобы спасти наше положение.

Я считала нас очень богатыми, со всеми принадлежавшими нам полями, лесами, фермами, имением, скотом и прочим, так что волнения матери были мне совершенно непонятны.

Как-то в августе к нашему дому подошел молодой парень, красивой наружности, и вызвал отца. О чем они говорили я не слышала, но видела, как по окончании переговоров лицо парня просияло, и он начал за что-то благодарить отца. Когда парень ушел, между родителями разгорелась ужасная сцена. Мать, всегда довольно сдержанная, на этот раз говорила настолько повышенным тоном, что казалось она даже кричит. Отец же, всегда бушевавший из-за всякого пустяка, был смущенным и бормотал что-то в свое оправдание. Мать все не успокаивалась. Я начала вслушиваться в их разговор и поняла, что весь "сыр-бор" разгорелся из-за какой-то коровы, которую отец обещал подарить молодому парню. Парень этот, из одной из самых бедных семей нашей деревни, задумал жениться. Средств купить корову у него не было. Родители невесты никак не соглашались отдать девушку такому "голоштаннику", который не мог обеспечить ее самым необходимым. Жених получил категорический отказ. В полном отчаянии (девушка давно полюбилась ему и отвечала тоже полной взаимностью) он решился на последний шаг – пойти поклониться помещику (отец слыл добрым барином), что было парню поперек сердца, ибо, принадлежа к крестьянской бедноте, он был яро настроен против всех "капита-

листов" и "господ". Но корова была нужна до зарезу, и он пренебрег своими "политическими" убеждениями и явился к нам. Отец расчувствовался рассказом и приятным обликом парня и разрешил ему взять (конечно даром) даже не телку, а молочную корову из стада. Сам же собрался на другой день поехать на ферму и выбрать ту, которая особенно полюбится будущей молодухе. И вот, идя в самом благодушном настроении после разговора с Иваном (позже я узнала имя жениха), он наткнулся на мать, которая, выведав о причине его прекрасного настроения, устроила ему скандал. Не знаю, что особенно возмутило мать: потеря коровы или то обстоятельство, что она переходила во владение "явно революционного элемента". Во всяком случае отцу досталось, как говорится "на орехи". Обычно уступавший, на этот раз он оказался твердым, как кремень. Сказал, что теперь отступить не может, что он уже дал слово, изменить которое не намерен. Никакие крики и уговоры матери не подействовали.

На другой день, прихватив меня на ферму, он выехал на своих маленьких дрожках, пока все еще в доме спали. Я была весьма польщена тем, что меня посвятили в это дело и получила громадное удовольствие от всей процедуры выбора, в котором принимали участие не только будущие молодожены, но и родители невесты, по-видимому, до последней минуты не верившие рассказам Ивана.

Что особенно меня развеселило – это бурное выражение благодарности всей семьи. Мне корова тоже понравилась, и я была в самом лучшем настроении духа, когда старик отец невесты сказал: "Вот, барышня, учись у папаши, будешь добра к людям и тебе Бог пошлет счастья".

(Спустя восемь лет мне вспомнились слова оброченского крестьянина). Прошла Революция. Мы жили в Симбирске: мать и я. Отец и старший брат не подавали о себе вестей с тех пор, как присоединились к Белой армии. Георгий же был призван в Красную. Нам приходилось очень туго. Мать обменивала одну драгоценность за другой, которыми, в свое время, ее щедро наделял отец. Через знако-

мого, отца моей школьной подруги, я получила место младшей конторщицы в Финансовом Отделе города. Работа заключалась в подшивке входящих и исходящих бумаг. Получала гроши, но все же причитался какой-то паек, который помогал существовать.

Однажды я почему-то задержалась по окончании рабочего дня и спешила закончить оставленную мне заведующим работу. Вдруг вижу, к моему столу подходит высокий красивый мужчина, еще молодой, но по осанке и костюму догадываюсь, что это вновь назначенный заведующий Финотделом. О нем мне много рассказывали сослуживцы, но я его еще не видела. Все учреждение боялось его, как огня. Говорили, что он крупный партийный работник и его прислали к нам, чтобы поднять упавшую дисциплину и работоспособность всего персонала. Он прямо направился ко мне и отрывисто спросил: "Как фамилия?", я ответила. "Ты кого же дочь, Сергея или Александра?" – последовал второй вопрос. Замирая от страха при таком неожиданном допросе, робко ответила: "Александра". Не говоря больше ни слова, новый хозяин повернулся и ушел.

Окончив работу, я побежала домой. Рассказала матери об этом, казалось бы, незначительном происшествии, но которое в советских условиях грозило большими последствиями. Выразила свою уверенность, что меня завтра же уволят.

В это время в Симбирске, как и в других городах, всюду разыскивали так называемых "бывших людей", и то, что новый начальник был так прекрасно осведомлен о нашей семье (даже знал имена отца и дяди) не давало возможности сомневаться в том, что моей "служебной карьере" пришел конец.

На другое утро, когда я робко переступила порог нашей конторы, меня подозвал заведующий нашим отделом и поздравил с назначением на должность помощника делопроизводителя Отдела. Это было значительным повышением, принимая во внимание мои лета и отсутствие опыта.

Я не верила своему счастью и не могла понять в чем дело.

Скоро загадка разрешилась. Как-то на улице мне повстречалась красивая молодая женщина. Остановив меня, она вдруг обратилась ко мне со словами: "Не узнаете меня, барышня? (я уже давно отвыкла от подобного обращения и с удивлением смотрела на нее). Я – Татьяна Григорьевна, жена Ивана. Помните, Вы нам корову выбирали, когда мы жениться собирались? Теперь Ивана моего назначили начальником Губфинотдела".

Тут я поняла, кому я обязана повышением и почему. Я вспомнила все как будто это было вчера: большой скотный двор на ферме в Оброчном, красивую буланую корову, выбранную застенчивой хорошенькой девушкой и сияющим парнем в белой вышитой рубашке. Вспомнила и слова старика отца.

В этот год мы даже не дождались дня именин отца в Оброчном и уже в конце августа перебрались в Петербург. Братьям надо было заниматься, а мне взяли учительницу, опять немку, которая приходила три раза в неделю. Остальное время я занималась с матерью разными предметами, необходимыми для сдачи экзамена при поступлении в женский институт, куда родители собирались меня отдать.

Несколько знакомых семей, у которых были дети моего возраста, объединились и организовали частные уроки танцев в большой элегантной квартире полковника Гладкого на Таврической улице. Приглашен был балетмейстер двора, что особенно импонировало родителям, но не детям. Дети, наоборот, не взлюбили этого высокого, стройного, небрежно скользящего по паркету господина, который был чрезвычайно к нам строг и зло подсмеивался над неловкостью и ошибками. Я лично на него не могла пожаловаться. Он, видимо, благоволил ко мне и всегда выбирал мне хорошего партнера. Мать моя, умевшая очень прилично шить, сотворила для меня что-то прелестное из разноцветного, воздушного шифона. Благодаря ее стараниям я оказалась одной из самых нарядных девочек, посещающих уроки танцев.

Это время связано у меня с воспоминанием о моей первой любви. На уроках собиралось человек двадцать детей, между 8-ю и 13-ю годами. С первых же дней мое внимание было привлечено румяным, стройным мальчиком, высокого роста, с пышными светлыми кудрями. На вид ему можно было дать лет 13. Звали его Степаном. Единственно, что мне в нем не нравилось – это его имя. Почему-то обязательно хотелось, чтобы его звали Никитой. Это имя, связанное с русской стариной, казалось гораздо более романтичным.

С именем приходилось смириться, уж очень нравился мне сам обладатель этого, как мне казалось, непоэтичного имени. Степа же не особенно рвался на уроки и сначала довольно часто пропускал. Тогда наш балетмейстер шел на разные уловки. Завидя Степу еще в передней (Степа всегда опаздывал), наш учитель моментально освобождал меня от моего партнера и, скользя по паркету, несся за руку со мной навстречу моему герою. Кажется, мы составляли хорошую пару, нам даже аплодировали, что, конечно, Степе, как и мне, очень нравилось. Постепенно мы стали находить все больше и больше удовольствия в компании друг друга. Степа перестал пропускать уроки, а, если все-таки, по какой-либо причине его не было у Гладких, я не скрывала своего уныния и, как правило, хуже танцевала в эти дни, вызывая насмешки нашего педагога.

После двухчасового урока, сервировали чай с превкусными тортами и другими сладостями лучших Петербургских кондитерских. Торт с земляникой я долго не могла забыть. К чаю собиралась очень большая компания. Кроме детей и родителей, наблюдавших наши танцы, приезжали еще обычно братья и сестры, которым поручалось отвозить домой тех, с кем не было старших. В числе подобной молодежи был всегда и мой брат Георгий. Он производил большое впечатление на бывавших у Гладких барышень. За два последних года он очень вырос, чертами лица походил на мать, которая отличалась незаурядной внешностью. Был всегда очень элегантно одет в свою праздничную ли-

цейскую форму. За чаем он совсем не наблюдал за мной, занятый флиртом с хорошенькими девицами. Я же радовалась соседству Степы, который усиленно угощал меня всеми моими любимыми деликатесами.

Вскоре после чая все разъезжались. Со следующего дня я уже с нетерпением начинала ожидать будущего урока танцев. Эти танцы в доме Гладких и моя детская любовь к Степе были самым ярким впечатлением моей жизни в Петербурге.

Что касается домашней обстановки, то она была далеко не радужной. Все еще находились под гнетом Васиной смерти, первая годовщина которой приближалась. Он как-то умел всех объединить. Родители и братья его обожали, знакомые, прислуга – все его любили. Веселый. остроумный, он забавлял всех интересными рассказами или (прекрасный пианист) целыми вечерами играл, вызывая всеобщее восхищение. Поэтому у нас всегда было весело. Теперь же гораздо реже собирались знакомые. Георгий с понедельника до субботы проводил в лицее, а Павел – скромный, сильно заикающийся, грустил о потере любимого брата и уже никак не мог заменить его в кругу Васиных друзей и почитателей.

В отношении политических событий в нашей стране из разговоров родителей я понимала, что далеко не все благополучно. Отец приезжал домой все более и более раздраженный, передавал подробности думских заседаний, ругал Керенского, по-видимому, своего злейшего врага. Часто в разговорах проскальзывало имя Распутина. Заинтересовавшись, я обратилась к брату Павлу, который более всех остальных домашних снисходил к разговорам со мной. Он объяснил, что Керенский – политический противник отца, принадлежащий к диаметрально-противоположной партии, а что Распутин – просто мерзавец, пролезший в доверие к государыне Александре, так как умел вылечивать, как никто другой, маленького очаровательного наследника, больного гемофилией.

Я была очень удручена рассказами Павла, ибо, как

все русские дети, обожала десятилетнего прелестного мальчика, портретами которого была завешена вся моя комната. Кое-что и раньше доходило до меня о его болезни, но почему-то все это было покрыто тайной. Никто об этом много не говорил.

Как-то в начале 1914-го года у нас был прием членов Думы, во главе с председателем Родзянко, Хвостовым, явно покровительствующим моему отцу (Хвостов был выбран от Нижегородской губернии), и многих других, имен которых я не знала. Из очень крупных разговоров в кабинете отца, за ликерами, после ужина, я подслушала, что стране грозит большая опасность и эта опасность идет, главным образом, от сибирского мужика, Распутина, того самого, которого ровно год тому назад Родзянко выкинул из Казанского собора.

Распутин недолго отсутствовал из Петербурга и теперь опять играет роль при Дворе. Ненавидя Родзянко и не прощая обид, он, по-видимому, как-то мстил ему теперь.

Впервые в этот вечер между взрослыми шли разговоры о возможной войне. Наслушавшись всего этого, я в ту ночь долго не могла заснуть, а когда засыпала, то видела страшные кошмары: маленькую фигурку больного наследника, а над ним страшное лицо с черной бородой — Распутина.

ЛЕТО 1914-го ГОДА

Весна в этом году была чудесной и, как только кончились занятия братьев, мы перебрались в Оброчное. Последние дни в Петербурге были тревожными. Родители обсуждали визит Пуанкаре, радуясь союзу с Францией, но считая, что все это связано с возможностью войны с Германией. Говорили также о частых военных парадах, имевших место, главным образом, в Красном селе. Слово "война" слышалось все чаще и чаще. Все это производило тяжелое впечатление на мою детскую душу, и я часто прибегала к Павлу, прося возможных разъяснений по волнующим меня вопросам. Но он что-то стал односложен в своих ответах. "Будет война, пойду добровольцем". На этом заканчивались наши беседы.

В Оброчном, когда съезжались родственники, особенно мои два дяди Сергей и Николай, то крики в бабушкином доме не прекращались и достигали даже нашего. Особенно горячился отец, по-видимому, не сходясь во взглядах с братьями. Отец всецело заступался за царствующего императора Николая 2-го, а братья нападали, особенно на царицу, и возмущались поведением Распутина.

Дядя Николай боготворил великого князя Николая Николаевича и считал, что именно он должен быть на престоле, а не слабый характером Николай Второй, находящийся под влиянием жены и Распутина. Сергей был настроен еще более либерально и кричал о необходимости ограничения власти государя и организации учредительного собрания. Бабушка была в ужасе, что все в усадьбе слышат эти раздоры и пререкания братьев, умоляла их замолчать. Ненадолго воцарялось спокойствие, чтобы опять, по какому-либо пустяковому поводу, не начиналось все сначала.

Я терпеть не могла этих съездов. Ничего кроме волне-

ний и неприятностей они не приносили. В подобных случаях удирала к своим любимым собакам и лошадям и с ними проводила остаток дня.

Как сейчас помню солнечный яркий день конца июля, когда я, собрав всех девочек, дочерей усадебных рабочих и служащих, устроила игру на подъезде.

Вскоре мы увидели брата Павла, скакавшего верхом по главной дороге и свернувшего к "новому дому". Он соскочил с седла и показался мне чем-то взволнованным. Привязав лошадь, он прошел прямо в дом. Это было очень на него непохоже. Он всегда останавливался, чтобы поболтать со мной и моими подругами.

Я проскользнула в переднюю и услышала разговор об убийстве в Сараеве Франца Фердинанда – племянника австрийского императора Франца Иосифа. Павел что-то рассказывал о каком-то ультиматуме, посланном Австрией и на который Сербия должна ответить в течение 48 часов.

"Теперь-то уж война неизбежна", – послышались слова отца.

Я в ужасе выскочила обратно на парадное крыльцо, чтобы прекратить игру и отправить девочек по домам.

События стали развиваться ускоренным темпом.

Через несколько дней Россия была уже в войне. Всюду начались мобилизации. Близлежащие деревни и село Оброчное оглашались непрерывным завыванием женщин и детей, провожавших мужей и отцов.

Дома настроение тоже было напряженным. Павел в первый же день объявил родителям, что бросает университет и идет добровольцем. Мать была в отчаянии. Так недавно потеряв старшего сына, она боялась лишиться и второго. Отец молчал. В нем, по-видимому, шла внутренняя борьба. Он не мог не одобрять патриотические чувства сына, а с другой стороны и он боялся потерять его. Павел был всегда его любимцем. Прислуга тоже волновалась. Почти у каждого был кто-то, кто должен был идти воевать. Объединяло их общее чувство тревоги и вспыхнувшей не-

нависти к моей гувернантке Ингеборг, которая этим летом опять вернулась в Оброчное.

Помню случай, как я отличилась во время этого без того уже напряженного настроения. Как-то за ужином, когда присутствовала вся семья, а лакей Петр обносил кушаньями, я вдруг, неожиданно даже для самой себя, обратилась ко всем и ни к кому в частности с вопросом: "Правда ли, что наша государыня немка?" Ответом на мой вопрос последовало то, что я была немедленно изгнана не только из-за стола, но и из столовой, под оглушительные крики отца. Обливаясь слезами, я убежала в свою комнату и еще долго рыдала там, несмотря на все уговоры прибежавших матери и Ингеборг. Всех больше меня возмутила несправедливость отца. "Ведь все же знают, повторяла я непрерывно, все знают, что государыня Дармштадтская принцесса, а это значит, что она немка". Отец еще долго бушевал в столовой, и слышно было, как братья что-то твердили ему. Ингеборг, боясь, что это ее заподозрят в подобных разговорах со мной, клялась матери, что она ни при чем, что об этом говорит вся дворня, начиная с лакея Петра, и что, конечно, я подобные разговоры слышу отовсюду. Мать, настроенная далеко не так монархически, как отец, не придавала случившемуся большого значения и старалась только всеми силами убедить меня никогда не задавать подобных вопросов при людях и меньше вмешиваться в то, что меня не касается.

На этом инцидент был исчерпан.

Этой осенью наша семья очень рано перебралась в Петербург.

Павел покинул университет и поступил в Николаевское Кавалерийское училище, по окончании которого уйдет на войну. Уже теперь объявил, под очевидным влиянием дяди Николая, что поступит во 2-й Конно-Дагестанский полк. Дядя Николай тоже в этом полку и, будучи в большой дружбе с великим князем Николаем Николаевичем, говорит, что великий князь очень покровительствует

Дагестанцам, так что Павлу лучше всего идти в Дикую Дивизию. Отец этим не очень доволен, но Павел ни о чем другом теперь и думать не желает.

Каждый день все дома следят за известиями с фронта.

Среди родных и знакомых уже есть жертвы. Убит старший сын тети Гершельман, у которой сначала жил Вася до нашего переезда в Петербург, а потом и я, на Пасху, когда все родные уехали в Оброчное на похороны.

Старший Гершельман служил в Уланском полку. С первых же стычек с неприятелем полк очень пострадал. Ранен двоюродный брат Сергей Давыдов, служивший в Измайловском полку. Теперь лежит в госпитале.

Родители отпустили Ингеборг, ее присутствие в нашей семье с первых же дней войны было всем неприятно. Думаю, что не только нам, но и ей самой. Взрослые часто забывали о ней и делились разными замечаниями, которые, волей-неволей, ей приходилось выслушивать. Прислуга ее явно бойкотировала. Я категорически заявила матери, что на улицах говорить по-немецки не буду. Последнее время мы гуляли в "гробовом молчании". Ингеборг кипела от возмущения, но сделать со мной ничего не могла. Наконец она не выдержала этой обстановки и просила родителей уволить ее.

Никто не задерживал, и она покинула наш дом.

Вся жизнь в Петербурге изменилась. Наши веселые танцклассы прекратились. Полковник Гладкий ушел на войну. Родители всех наших участников считали, что теперь не время танцевать и развлекаться.

С моим первым увлечением, Степой, я стала встречаться только в домах разных общих знакомых, но и то редко. Мне стало казаться, что он ко мне совсем переменился. В прошлом году я была его главной партнершей в танцах, нас хвалили, и ему это очень нравилось. Теперь же в домах, где мы бывали, девочки были много старше меня, у них были со Степой свои интересы и какие-то тайны, которые они тщательно скрывали от меня. Я чувствовала себя обиженной и очень огорчалась таким презрительным ко мне

отношением. Однажды я сказала матери, что больше не хочу ездить в эти дома, ибо мне там просто скучно.

На этом мой первый "роман" закончился.

(33 года спустя, работая секретарем в одном учреждении у французов, оккупировавших область Рейна после второй мировой войны, я случайно узнала, что Степа жив и тоже находится за пределами Советского Союза. С женой и сыном он жил в Мюнхене, занятом американцами. Из-за незнания языка никто из семьи не мог найти службы. Мне удалось через моего начальника выписать их в зону французской оккупации (французский язык они все знали великолепно). Здесь они сразу же были приняты на очень хорошую работу.

Как-то, в разговоре со мной, Степа сказал, что зима 1913-14 гг., танцклассы у Гладких и знакомство с маленькой, голубоглазой девочкой останутся навсегда самым светлым пятном его жизни. Я пожалела, что не знала этого раньше).

Весной мать мне сказала, что в следующую зиму мы не вернемся в Петербург, а проведем ее в Оброчном. В тот вечер я долго не могла заснуть, стараясь разгадать причину этого решения. "Дума" ли закрылась или отец больше не на службе? Он все время в таком отвратительном настроении, на все лады ругает Керенского, наверное его уволили, пришла я к заключению.

Между прочим отец всегда уверял, что у Керенского препротивный пискливый голос, когда он орет на собраниях. (36 лет спустя я встретила этого самого Керенского в Нью-Йорке, но этого не заметила. Правда и обстоятельства изменились. Кричать ему было не на кого, спорить не с кем. В это время он помогал ссудами, которые доставал в одном банке, эмигрантам, только что приехавшим в Америку. Помог и мне. Показался он мне весьма галантным пожилым господином, любезно снимавшим и подававшим пальто и открывавшим дверь. Я была рада, что ему в голову не пришло спросить мою девичью фамилию, которая возбудила бы в нем не очень-то приятные

воспоминания. Позже мне пришлось несколько раз с ним встречаться, даже на одной свадьбе общих знакомых, но разговоров о прошлом не подымалось).

Дома в это время бесконечно обсуждали роль Распутина при Дворе, говорили о больном наследнике и смене министров. Разговоры о государыне вызывали между родителями большие разногласия. Отец все еще пытался защищать царскую семью, мать же доказывала, что Распутин— позор и что он-то и погубит монархию.

В это время в Петербурге было большое увлечение спиритизмом. Мать организовала кружок любителей, который часто у нас собирался. Все вызываемые духи, как правило, пророчили гибель нашего государства через Распутина!.. Меня эти сеансы крайне интересовали, и я старалась незаметно проникнуть в гостиную, где собирались все участники, но меня замечали и неизменно выпроваживали.

В июне 1915 года мы вернулись в Оброчное, чтобы больше оттуда не уезжать. Вскоре родители получили длиннейшую телеграмму, в которой перечислялись все убитые и раненые в одной из самых неудачных атак Дагестанского полка. Брат жены дяди Николая, Борис, был убит. Сам Николай контужен в голову. Близкий друг Павла, Сергей Мессинг, тоже контужен. Многие друзья и родственники ранены. К счастью, Павел остался целым и невредимым. Все произошло из-за того, что полк был послан в атаку и налетел на проволочные заграждения, о которых командиры каким-то образом ничего не знали.

Настроение в Оброчном было настолько подавленным, что, казалось, вся радость жизни ушла без возврата. У меня, с уходом Ингеборг, больше не было гувернантки. Я убегала на целые дни в луга и леса или уезжала верхом. В усадьбу прислали на работы военнопленных австрийцев. Один из них работал конюхом, и его давали мне в провожатые. Я больше не удовлетворялась нашим "ипподромом" за усадьбой, а стремилась уезжать в соседние деревни или даже в громадный сосновый лес, верстах в пятнадцати от дома. И вот тогда, когда удавалось скакать по

полям и лугам на любимой мною лошади, забывалось все тяжелое, что свалилось на всех нас.

Ни о каких праздниках не было больше и речи.

Закончилось лето, наступила ранняя осень. Поднялся вопрос о моем дальнейшем образовании. Родители выписали из Мурома молодую русскую учительницу, Зинаиду.

Вскоре появилась в нашем доме тоненькая, застенчивая девушка лет восемнадцати, только что окончившая гимназию. Ее очень рекомендовал старый знакомый нашей семьи – учитель Муромской гимназии.

Девушка всем понравилась, и наши занятия начались.

Поздней осенью, в октябре, родители решили ехать в одну из западных губерний, куда на отдых был направлен Дагестанский полк. На время их отсутствия вызвали из деревни мою старую няню, считая, что молодая учительница еще неопытна, да и совсем чужая в Оброчном. Лучше было иметь дома кого-то из своих. Я была вполне довольна этим оборотом дела и даже не очень грустила из-за отъезда родителей.

В ноябре они вернулись. Отпуск полка кончился.

Теперь по вечерам к нам приходили из "Старого Дома" бабушка с братом, и родители развлекали всех рассказами о проведенном не очень-то далеко от фронта времени.

Привезли с собой много снимков, завели много новых знакомств.

Мы стали ждать Рождества и приезда Георгия.

В двадцатых числах декабря приехал Георгий с товарищем по лицею – Воронцовым-Дашковым. Это был красивый, краснощекий мальчик, лет 17. Вместе с Георгием они предавались всем деревенским развлечениям: катаньям с гор, на тройках, на лыжах.

Лично мне их двухнедельное пребывание в Оброчнои никакого удовольствия не доставило, ибо, считая меня малолетней, они относились ко мне с большим презрением и всячески избегали моего присутствия. Я, конечно, обижалась и жаловалась Зинаиде. Она сочувствовала, но

помочь ничем не могла.

В тот год (1915-16) моим большим развлечением служила переписка с четырнадцатилетним мальчиком, сыном маминой подруги из Нижнего Новгорода. Каждую неделю, и обязательно по вторникам, (видимо писал по воскресеньям) я уже знала, что на почте меня ждет небольшой конверт с его письмом. Мы обменивались новостями. Он обычно писал, что делается в городе, я же описывала нашу деревенскую жизнь.

Весной 1916-го года Георгий перешел на ускоренный курс Пажеского корпуса, чтобы затем выйти в артиллерию и по стопам брата уйти на войну.

Лето 1916-го года было неспокойным. Благодушное настроение окрестных крестьян изменилось. В усадьбе начались разные мелкие беспорядки. Каждое воскресенье выламывали доски из забора, отделяющего усадьбу от большой дороги. Эта большая дорога вела из Баева (соседней деревни) в Оброчное, где была церковь. В деревнях, по другую сторону усадьбы, на протяжении пяти верст не было ни одной церкви, и потому все крестьяне этих деревень должны были проходить мимо усадьбы. Лето было жаркое, солнце пекло с утра, и, конечно, приятнее было идти густой березовой аллеей, а не по самому припеку по пыльной дороге. Это хождение по парку раньше запрещалось управляющим, и никто не нарушал его распоряжений. Теперь же не только молодежь, но и пожилые крестьяне пользовались этой лазейкой и целыми толпами шли по праздникам в Оброченскую церковь из всех близлежащих деревень. Никакие запреты и убеждения больше не действовали. На возмущение матери отец просил не вмешиваться и сам переговаривал со старостой. На время как будто порядок восстанавливался, но ненадолго. Вскоре опять все начиналось с новой силой. Доски из забора исчезали, лазейка все вырастала, и березовая аллея была затоптана так, точно проходило целое стадо коров.

Иногда появлялись в усадьбе странные личности в штатском платье. Говорили с дворовыми. Раз пришли и выз-

вали отца. Отец, по своему обыкновению (всегда отличался большим гостеприимством), пригласил их к ужину. Оказалось, что это меньшевики, которые интересовались настроением крестьян и часто бывали в наших местах. За столом отец беседовал с ними спокойно, чему я очень удивилась, но после их ухода долго говорил что-то матери, закрыв двери гостиной и очень волновался. Хорошо еще, что не вышло никакого скандала в присутствии этих посторонних людей.

Чем дальше, тем настроение делалось более напряженным. В деревне, уже почти не скрываясь, присутствовали на крестьянских собраниях какие-то подозрительные личности. Выступали. Своими речами мутили крестьян. Попадались в руки полиции и их увозили, как рассказывали, в Нижегородскую тюрьму.

Большей частью им все сходило с рук и никто их не трогал.

Мой друг из Нижнего Новгорода писал мне, что и там неспокойно.

Распутин не сходил ни у кого с языка.

Интересно, что мой отец даже перестал защищать так безоговорочно царскую семью, как это делал раньше. Его ненависть к Керенскому, правда, не улеглась, и, при каждом удобном случае, он опять вспыхивал и клял его на чем свет стоит.

РОЖДЕСТВО 1916-17 гг.

Подошло Рождество. Громадную елку установили в столовой. В России праздновали не сочельник, а первый день. С разрешения родителей, я пригласила всех детей не только окрестных помещиков, но и дворовых ребят. С дочерью кухарки, моей любимой подругой, готовилась их всячески развлекать и угощать.

В сочельник все собрались в гостиной: родители, бабушка со своим братом пришли из "Старого Дома", моя учительница Зинаида и я.

Ожидали ужина. По строгим правилам, проповедуемым бабушкой, до первой звезды в сочельник не разрешалось ничего есть.

В это время послышался шум в передней, открылась парадная дверь, кто-то вошел, раздались голоса. Я – первая сорвалась с места и бросилась встречать неожиданных гостей. В дверях из столовой в переднюю остолбенела от неожиданности и радости. В полушубке и папахе, замотанный алым башлыком, стоял брат Павел. Через секунду я уже обнимала его. За мной спешили все остальные. За поцелуями и расспросами никто не заметил, что в углу стояла небольшая фигура в терпеливом ожидании.

Вырвавшись из объятий родителей, Павел представил своего вольноопределяющегося, Виктора Штейна. Он нам о нем уже писал. Теперь привез на время отпуска к нам.

С этого дня развлечения чередовались. То у нас, то у соседей бывал большой съезд гостей с обязательной елкой. Днем же катались на лошадях по окрестностям или на огромной ледяной горе на санках и ледянках в самой усадьбе. Виктор оказался веселым малым. Он каждый день придумывал что-либо новое. Сам развлекался, как ребенок.

Да ему и было-то всего 19 лет.

Новый Год встречали у соседей Приклонских. Деревня их, Ульяновка, была всего в трех верстах от Оброчного. Для развлечения Павла и Виктора были приглашены все молодые учительницы соседних школ. Это была семья Чижовых. Их было семь девушек между 18-ю и 27-ю годами. Моей любимицей была Шурочка, двадцати лет, влюбленная в брата Павла.

В этот вечер все как-то забыли о войне, о том, что скоро Павлу и Виктору придется возвращаться на фронт: все веселились, как никогда.

Мне теперь кажется, что это был последний, такой беспечный, бурно-радостный вечер, проведенный нами до революции.

Спустя несколько дней до нас дошла весть об убийстве Распутина. В доме от этого известия царила общая радость и надежда, что теперь все должно измениться к лучшему.

Надежды на благоприятные перемены не оправдались. Волнения не улеглись, события стали разворачиваться с невероятной быстротой, и для нашей семьи ничего уже более веселого и приятного в начале семнадцатого года не случилось.

В начале февраля утром Зинаида вошла в мою комнату, бледная, с перепуганным лицом. Я уже не спала и с удивлением посмотрела на нее. "Вставай скорее, твоя бабушка сгорела", – услышала я страшные слова. "Родители твои всю ночь провели в "Старом Доме".

Перепуганная, я бросилась к ней с расспросами. Она рассказала как все произошло. Бабушка ночью, со свечой, пошла в уборную (электричества в доме не было). Свечу поставила на пол и, по-видимому, задремала. Пришла в себя, когда шерстяной, длинный халат пылал. На ее крик прибежала спавшая в девичьей горничная Анюта и, с помощью сестер (у бабушки воспитывались две Анютины сестры-сироты), сорвала с бабушки халат и завернула ее в мокрые простыни. В это время девушки тушили разгоревшийся халат и другие, близлежащие вещи, охваченные огнем. Послали за моими родителями. Срочно был вызван

врач из села Кемля, за 5 верст от Оброчного.

На утро приехал другой доктор, за которым были высланы лошади в соседний уездный город.

После осмотра бабушки выяснилось, что у нее ожоги третьей степени и надежды на выздоровление нет.

С этого дня и до 27-го февраля, дня кончины бабушки, не было ни минуты покоя ни для моих родителей, ни для съехавшихся родственников, ни для прислуги. Но самые тяжелые страдания пали, конечно, на долю бабушки. С утра и до позднего вечера по всему дому раздавались ее жалобные стоны, раздиравшие всем сердце. Помню, куда бы я ни уходила, меня всегда преследовал этот жалкий, с каким-то даже завыванием, голос несчастной бабушки.

Только вечером, после мучительной перевязки, ей давали успокоительные средства и на некоторое время она впадала не то в сон, не то в полусознательное состояние.

Моя мать чередовалась с сразу же приехавшей из Симбирска теткой, сестрой отца. Бабушке казалось, что мать ухаживает лучше других, и она требовала ее постоянного присутствия. Через несколько дней маму было трудно узнать. Она похудела, побледнела, страдальчески исказились ее красивые черты.

Лицо бабушки не пострадало совсем. Когда 27-го февраля ее уложили в гроб, то все поражались, как молодо, спокойно и прекрасно она выглядела.

Перед похоронами съехались монахини из соседнего монастыря. Оказывается, это было желанием бабушки, чтобы ее отпевал хор монахинь. Раньше она часто бывала в этом монастыре, и ей очень нравилось монашеское пение.

Весь "Старый Дом" заполнился черными фигурами, неслышно скользящими по паркетным полам. Сама игуменья — полная, высокая, представительная женщина руководила всем. Пели они, правда, изумительно.

Хор молодых чудных голосов наполнял весь дом. "Словно ангелы уносят душу твоей бабушки", — говорила няня.

Частые панихиды, монашеское пение, запах ладана и бесчисленное количество горящих свечей так на меня действовали, что на второй день, во время службы, я упала в обморок, перепугав мать, которая и сама-то еле держалась на ногах. Меня отправили в "Новый Дом" и запретили больше приходить.

Даже несмотря на мои мольбы и слезы, не взяли на похороны.

Итак, ушла наша веселая, энергичная бабушка – оплот старого режима.

А за это время в далеком Петрограде развертывались события, отразившиеся не только на нашем будущем, но и на будущем всей страны. Об отречении государя мы уже слышали, но, переживая ужас бабушкиной болезни, даже отец отнесся слишком равнодушно.

Теперь же в стране бушевала революция.

Бабушку хоронили 1-го марта. Съехалось множество родственников и знакомых. Процессия протянулась от усадьбы до церкви. Приехал с фронта любимый внук бабушки – улан Денис Давыдов. Мне потом рассказывали, что он просил сфотографировать его у дверей склепа, куда опускали гроб. Я видела эту фотографию: он стоял с опущенной головой, полный глубокой печали.

Через месяц и сам был убит на фронте.

Вечером, после похорон, отец сказал, как бы про себя: "С мамой похоронили старый мир. Этот мир ушел навсегда. Что-то нам даст то новое, что стоит у порога?"

Двух недель не прошло со дня похорон, как в наш дом пришла толпа Оброченских крестьян, во главе с каким-то представителем новой власти. Намеревались они искать будто бы спрятавшегося дядю Сергея.

Сергей был Пензенским предводителем дворянства, и его очень не любили крестьяне, несмотря на его либерализм. Как ни странно, отец, ярый монархист, пользовался гораздо большим уважением и любовью.

Толпа рассыпалась по всему дому, искали во всех углах, даже под кроватями. Бабы, воспользовавшись

тоже случаем побродить по "барским покоям", приходили в восторг от зеркальных шкафов, отражающих их в натуральную величину, пробовали бренчать на рояле и особенно поразились белой мраморной ванной около спальни матери. Ничего не брали, несмотря на то, что наверное многое их привлекало. Я замешалась среди толпы, где было полно знакомых мне девушек и парней. Меня никто не гнал, а наоборот, расспрашивали насчет разных, впервые ими виденных предметов. Всех больше меня рассмешили две бабы, которые вытащили ночной горшок и интересовались, не кастрюля ли это для щей?

Обыск закончился ничем. Сергея не нашли, да его у нас со дня похорон бабушки не было. Старшие крестьяне извинились за беспокойство, потрясли отцу руку. Враждебности и со стороны молодежи не чувствовалось.

В скором времени узнали, что дядю все-таки нашли и засадили в тюрьму. Тетка была занята хлопотами об его освобождении, а дочь, Наташу, десяти лет, прислали к нам. Поселили ее в одну комнату со мной.

Отец все время находился в подавленном состоянии. Он никак не мог примириться с тем, что во главе Временного Правительства, кроме князя Львова, оказался и его злейший враг – Керенский.

Забавно было, что все девицы-учительницы, с которыми приходилось встречаться, были поголовно влюблены в Керенского. Моя Зинаида не была исключением. Зная только настроение отца, она избегала разговоров на эту тему. Я как-то обнаружила в самых заповедных ее вещах (маленький сундучок, который она порой открывала и перебирала свои сокровища) фотографию Керенского. Завидя меня, она постаралась скорее запрятать, но я все же успела увидеть и потом долго ее поддразнивала.

Она умоляла меня не говорить родителям.

Я продолжала переписку с моим Нижегородским другом Алексеем и делясь впечатлениями о происходящем, каждый из нас торжественно объявлял другому, что "Я, конечно, на стороне восставших". Алексей к тому же

сообщил, что он ходит с красным бантом, и советовал мне обзавестись таковым. Все же я не рискнула, боясь отцовской реакции.

В мае этого, 1917-го года, мы должны были с мамой ехать в Нижний Новгород, где мне предстояло держать экзамены в гимназию, вместо Института, как предполагалось раньше. Я заранее предвкушала удовольствие от этой поездки, но еще сначала ожидала приезда Георгия с двумя товарищами на пасхальные каникулы.

В понедельник на страстной неделе молодые люди прибыли поздно вечером, когда мы с Наташей уже спали.

На утро к нам в комнату ворвалась веселая, возбужденная Зинаида и, сообщив приятное известие о приезде молодежи, стала делиться с нами своими впечатлениями, которые на нее произвели молодые люди. Казалось, что она сразу влюбилась во всех троих.

С этого дня отец стремился всеми мерами развлекать наших гостей. Верховая езда сменялась охотами, последние рыбной ловлей. Одновременно не пропускались церковные службы, такие важные во время страстной недели. Времени хватало на все, и молодежь только страдала от одного — постной еды, с полным отсутствием мяса, как это у нас было принято с испокон веков.

Зато какое торжество было, когда после заутрени (ради Георгия и его друзей отец нарушил издавна вкоренившееся правило стоять всю обедню, почти до 4-х часов утра) все приехали домой и ахнули, войдя в столовую, где уже был приготовлен стол, ломившийся под громадным количеством яств. Чего только на нем не было: целый поросенок, окорок ветчины, телятина, всевозможные закуски, пироги, пасхи, куличи, крашеные яйца, а главное — целый ряд настоек домашнего изготовления.

Молодые люди остались у нас две недели и за это время покорили немало сердец окрестных барышень, молоденьких служанок, моей застенчивой Зинаиды и мое. Надолго образ привлекательного девятнадцатилетнего пажа Николая Зубова оставил в моем воображении неизгладимое

впечатление, вытеснив совсем воспоминание о первой любви – голубоглазом Степе.

Так как мне иногда разрешалось ездить с ними верхом, то, заметив мое немое обожание, Зубов подарил мне хорошенький хлыст с серебряным наконечником и моими инициалами. Этот подарок я тщательно хранила и всюду возила с собой вплоть до 1942 года, когда нам пришлось покинуть окруженный немцами, голодный, холодный Ленинград. Это было в первый раз, что у меня даже не было мысли взять с собой дорогую мне вещь.

После отъезда молодых людей, мы с матерью провели недели три в Нижнем, где я благополучно выдержала экзамены и перенесла маленькую операцию ноги.

Июнь, июль и август прошли сравнительно тихо. Нас мало кто посещал: смерть бабушки, арест дяди Сергея – все это не располагало к веселью.

В конце августа мама получила телеграмму от сестры, тети Лизы, спрашивающей разрешения приехать в Оброчное с мужем и дочерью и остаться у нас на зиму. Они жили в Чаусах, Могилевской губернии, где были непрерывные волнения, и они предпочитали выбраться в глубь страны, где им казалось безопаснее.

Первого сентября наша семья сразу выросла с приездом тети, дяди и двоюродной сестры Марины. Я была бесконечно рада их приезду, мне казалось, что атмосфера напряжения, которая не покидала наш дом, должна теперь рассеяться.

В этом я ошиблась. Тетя и дядя, напуганные революцией, только и говорили о ней и в свою политику втянули мать, которая под их влиянием на многое стала смотреть иными глазами.

Мы с двоюродной сестрой проводили все время вне дома. Я старалась соблазнить ее верховой ездой, но, к сожалению, безуспешно. Живя вечно в городе, она имела мало соприкосновения с миром животных, и ни мои любимые собаки, ни лошади ее совсем не привлекали. Единственно, на что она соглашалась, – это на поездки в лес и к соседям

в удобных экипажах.

Таким образом нашим любимым развлечением стали организуемые матерью большие экспедиции, в сопровождении всех моих деревенских подруг, в соседний бор за грибами. Грибов в этом году было несметное количество, и их сборы доставляли всем большое удовольствие. Так как самый большой лес был в верстах двадцати от усадьбы, то мы уезжали на целый день.

Прошел сентябрь и большая часть октября.

Большевистская революция 25-го октября 1917-го года отразилась и на нас.

Начались погромы имений, сопровождаемые пожарами. Одним из первых пострадал сосед Приклонский. Искали его самого, будто бы даже хотели убить, но он с семьей давно покинул деревню. От дома осталось одно пепелище.

Сгорело имение Философовых, в 5-ти верстах от нас.

Отовсюду шли самые тревожные слухи.

Насмерть перепуганная моя учительница Зинаида попросила ее отпустить и, при первой возможности, уехала к себе в Муром.

Отец не хотел никуда двигаться, убежденный, что нас никто не тронет. В этой уверенности его поддерживали Оброченские крестьяне, особенно более пожилые из них. Отношения у них с отцом всегда были хорошие. Сколько раз управляющий, да и мать тоже, попрекали его за доброту и попустительство. Отец всегда отшучивался, что на его век, да и сыновьям хватит, а дочь выдаст за богатого, тогда большого приданого и не потребуется.

Шутки шутками, но это верно, что, казалось, нам опасность не грозит.

Но вот как-то, к вечеру, на большой дороге, разделявшей усадьбу, показалось несколько троек, едущих по направлению "Старого Дома". В нем никто теперь не жил, кроме двух девушек, сестер, охранявших остатки бабушкиного имущества. Перепуганные, они прибежали к нам, рассказав, что толпа взломала двери и ставни и ворвалась в дом. Теперь там шел полный грабеж. Действительно,

вскоре и до нашего дома донеслись крики, звон и треск разбиваемых стекол, посуды, мебели. Отца вызвала целая делегация крестьян, со старостою во главе. Они советовали всем уйти из дому, пообещав охранять усадьбу от дальнейшего разорения. Между прочим, сказали, что сегодняшние громилы "Старого Дома" не наши Оброченские, а из других деревень, и что за них ручаться не приходится. Но что в дальнейшем они окружат усадьбу кольцом и никого не допустят. Отец, несмотря ни на что, не согласился покинуть усадьбу, но все же решил отправить женщин и нас, девочек. Для сопровождения вызвался здоровый мужчина, огромного роста, из наших Оброченских крестьян. Как пушинку, взвалил на спину два чемодана, куда были наскоро уложены самые необходимые вещи.

Мы пошли по направлению станции, где должны были на время поселиться у начальника ее – хорошего приятеля отца.

Пока мы шли через парк, почти непрерывно слышался гул голосов, шум и треск со стороны "Старого Дома" и было очень жутко от мысли, что будет с нами, если вдруг эта банда бросит грабеж и ринется в погоню.

Этот страх был напрасен. Нами никто, по-видимому, не интересовался. Слишком заманчива была та добыча, которую представлял собой "Старый Дом" с мебелью, фарфором, одеждой и другими вещами, накопленными веками.

Начальник станции нас приютил.

С этого дня, с 27-го октября 1917-го года, началась наша скитальческая жизнь.

Отец еще несколько дней оставался в усадьбе, которая днем и ночью, действительно, была окружена верными ему крестьянами. В доме с ним оставались брат бабушки и дядя, приехавший из Чаус. Оба были неспокойны и усиленно уговаривали отца уйти. Но он продолжал упорствовать. Мать между тем заявила, что никуда без него не уедет. Направление наше должно было быть – Лукоянов. Мы

узнали, что туда уже съезжаются почти все окрестные помещики. Каждый день доходили слухи о новых погромах, пожарах и даже убийствах.

Мне хотелось скорее выбраться из Оброчного. Я всеми силами старалась убедить отца, когда он приезжал нас навещать на единственной, оставленной ему лошади.

Весь табун и скот были выведены в первую же ночь после погрома "Старого Дома".

Только дней через десять отец, наконец, решился на отъезд.

Наши благодетели принесли нам еще некоторые вещи из дому.

12-го ноября 1917-го года мы покинули Оброчное.

ОТРОЧЕСТВО

Мрачным ноябрьским днем мы, ''Оброченские изгнанники'', прибыли в Лукоянов, небольшой провинциальный городок. Раньше я никогда там не была, и на меня он произвел самое удручающее впечатление.

От станции тянулась длиннейшая, грязная улица с маленькими деревянными домишками по обеим ее сторонам. Добрались мы до так называемого центра, который состоял из площади с возвышающимся посередине собором, окруженным с четырех сторон разными непривлекательного вида постройками. В этих зданиях размещены были различные учреждения и несколько магазинов с жалкими витринами.

Мы направились к бывшему секретарю отца, Ефимову, проработавшему с ним вместе много лет, теперь же приспособившемуся к новой власти и одновременно сохранившему добрые отношения с ''бывшими'' людьми, вроде моего отца. В своей довольно поместительной квартире он предоставил нам две комнаты, в которых, при всем желании, было довольно трудно уместить наше семейство, с двумя прислугами достигшее девяти человек.

К счастью, наш новый квартирохозяин подумал об этом и сговорился со священником, жившим на соседней улице и согласившимся уступить нам 3 комнаты с кухней в собственном доме, который еще находился в полном его распоряжении. Так как уплотнение квартирной площади уже началось, то его даже устраивала подобная комбинация.

Отец с двумя мужчинами остался у Ефимова. Мать, тетя, Марина, две прислуги и я перебрались к отцу Василию, который, вместе со своей ''матушкой'', любезно нас приветствовал. Это, до некоторой степени, примирило нас с мрачной ноябрьской погодой и непривлекательностью самого города, в котором теперь приходилось жить.

Потянулись дни, мало чем похожие на жизнь в Оброчном. Больше всего мне недоставало моих любимых поездок верхом и забот о дворовых собаках, среди которых громадный пес, со странным именем "Танго", был особенно мною любим.

Вместо большого поместительного дома – маленькая квартира, а на месте парка – садик в 20 шагов, по которому все-таки в целях моциона мы с Мариной ежедневно вышагивали в течение 20-30 минут. Эти прогулки напоминали нам, по описаниям Достоевского, тюремные дворы, на которые выводили арестантов.

Бродить по городу тоже было невесело. Жители больше сидели по домам – время было неспокойное и каждый день ожидались новые мероприятия советской власти. Погода не радовала, стоял промозглый ноябрь с сильными ветрами и частыми дождями. Продовольственное положение было плачевным. Местные жители еще жили старыми запасами, да урожаем своих огородов и фруктовых садиков, но всем новоприбывшим было крайне тяжело. Этих же новоприбывших набралось в Лукоянове много. Все помещики не только Лукояновского, но и соседних уездов, стекались почему-то в этот город. Каждый день мы узнавали, что приехали те или другие. Население все росло. То, что пугало взрослых, развлекало нас с Мариной. О возможном голоде мы тогда не задумывались, а такой съезд интересовал нас, ибо приобретались новые знакомые. У многих новоприбывших были дети нашего возраста, с которыми мы быстро перезнакомились.

Не прошло и месяца, как стали организовывать детские спектакли, уроки танцев. Начались и более серьезные занятия. Дядя стал с нами заниматься математикой, историей, географией, ботаникой, мать же взяла на себя иностранные языки. Тетка моя стала вести наше несложное хозяйство. Прислуг пришлось отпустить, ибо продовольственное положение с каждым днем становилось все более критическим.

Во второй половине декабря, как-то вечером, когда

мы с Мариной старательно готовили наши уроки на завтра, в передней раздался стук во входную дверь. Мы выскочили первыми, и через секунду я уже висела на шее брата Павла.

Оказалось, что Павел, освобожденный от военной службы, поехал домой, в Оброчное. Когда поезд уже приближался к станции, он услышал разговор двух мужчин в коридоре. Один из них, показывая на имение отца, мимо которого проходил поезд, сказал другому: "А вот бывшее имение Горсткина". Павел услышал эту фразу и, особенно поразившее его, слово "бывшее". Он вступил в разговор с незнакомым ему господином и узнал, что 2 месяца тому назад имение было захвачено крестьянами, старый дом сожжен, а помещики выбрались в Лукоянов.

Не слезая на остановке, он проехал дальше и уже в Лукоянове легко разыскал нас.

Вся семья окружила Павла, расспрашивая о положении на фронте, о его личных делах и одновременно рассказывая обо всех перенесенных нами событиях. Радость встречи была омрачена печальными обстоятельствами и убогой, окружающей нас обстановкой.

Как непохоже это было на его приезд год назад на Рождественские каникулы в Оброчное.

Спустя несколько дней и Георгий появился у нас. Так как он был в Петрограде, то родители смогли известить его о нашем новом местожительстве. Он прямо проехал в Лукоянов.

Теперь остро возник вопрос о подыскании новой квартиры.

Благодаря энергичным хлопотам братьев, уже к 1-му января мы переехали на Покровскую улицу, которую мы с Мариной прозвали Невским проспектом, ибо она была самой широкой и лучшей в городе. Кроме того, по ней вечерами разгуливало все молодое население города. Знакомились, назначали друг другу свидания. Несмотря на наш весьма юный возраст, мы тоже каждый день стремились побродить там к недовольству матери и строгой

тетки. Все-таки, несмотря на их протесты, нам как-то удавалось улизнуть из-под их надзора и погулять в веселой компании Лукояновской молодежи.

Сразу же после каникул, мы обе были приняты в школу, помещавшуюся в большом кирпичном здании на главной площади, против собора.

Марине не пришлось долго оставаться в этой гимназии (в те времена еще пользовались старым названием), ее крайне реакционно настроенные родители взяли из школы на том основании, что преподавание ведется не тем способом, к которому привыкли в дореволюционной России. Главное же, что возмущало родителей Марины, были требования, предъявляемые к детям, — нести всевозможные обязанности по заготовке дров и уборке помещения школы.

Каждую субботу мы ездили на "субботники", которые заключались в погрузке дров, необходимых не только для нашей школы, но и для других учреждений города. Если же оставались в городе ввиду очень скверной погоды, то должны были мыть полы и окна в классах и коридорах. Никаких современных приспособлений для подобных уборок тогда не было. Все это делалось весьма примитивным способом при помощи швабр и тряпок. Окна были громадной величины, пол же в коридорах особенно настолько грязный, что отмыть его не представлялось возможным.

Непривычные к подобной тяжелой работе дети очень утомлялись и часто на другой день (иногда вместо субботников были воскресники) не могли присутствовать на уроках. Конечно, подобные ученицы подвергались большим насмешкам некоторых преподавательниц, старавшихся приспособиться ко всем требованиям новой власти.

Несмотря на то, что я много занималась спортом, ездила верхом, любила работать в саду и огороде, все же переноска тяжелых дров и мытье полов часто мне бывали не под силу.

В одном классе со мной была сильная, здоровая девочка

из одной из соседних деревень, привыкшая ко всяким хозяйственным работам. Вот эта самая Наташа прониклась ко мне большой симпатией и предложила произвести такого рода обмен: она будет мыть за меня полы и окна, я же буду помогать ей с французским языком, который ей никак не давался. Выход был найден. Скоро Наташа, вместо обычных двоек, стала получать хорошие отметки, я же по "субботникам" писала дома для нее упражнения и маленькие сочинения, которые она в тот же вечер забирала, переписывала и представляла нашей преподавательнице.

Преподавательница же, некая Мария Ивановна, тоже из числа прибывших в Лукоянов помещиков, была рада зацепиться за первое подвернувшееся ей место и не особенно интересовалась успехами своих учениц. Осталась равнодушной и к тому явлению, что Наташа неожиданно проявила такие способности к французскому языку. Видимо стала относить это на свой счет и превозносила свою ученицу на учительских собраниях.

Мои же пропуски "субботников" и "воскресников" проходили тоже незамеченными по довольно забавной причине. В то время мой брат Георгий, поступил тоже в нашу школу преподавателем латыни. Георгий был исключительно красивым, высоким, стройным юношей. Поголовно все молодые учительницы повлюблялись в него. Он же был со всеми мил, не уделяя никому предпочтения. Это и было моим спасением. По-видимому, каждая из этих "дев" надеялась победить его сердце и не придиралась к младшей сестре, нарушавшей школьные распорядки.

Да к тому же надо сказать, что в те времена никакого настоящего контроля и порядка в школах не было.

К весне заготовка дров и мытье полов прекратились. Не нужно было топить помещения, а ученицы так отвратительно исполняли свои обязанности по мытью и уборке, что начальство решило нанять двух здоровеннейших уборщиц, которым и было поручено держать в порядке здание

школы.

Все это вышло на мое счастье, иначе мне не сдобровать бы с моими пропусками и заменами. Дело было в том, что наша учительница французского языка, упомянутая уже мною Мария Ивановна, влюбилась в моего красивого брата и, обладая весьма энергичным характером и большим опытом в любовных делах (была уже замужем и разведена), разогнала всех его скромных обожательниц, предъявив свои неоспоримые права. Конечно, это вызвало целую бурю возмущения среди моих учительниц, и мое положение резко пошатнулось. Надежд на их снисходительность у меня больше не было. Но теперь, благодаря новым распоряжениям начальства, в их попустительстве я больше не нуждалась. Что же касается уроков, училась я неплохо и придираться ко мне не было никакого основания. Наташе же я, по старой памяти, продолжала помогать с недававшимся ей французским языком, так что она от происшедших перемен не пострадала. Я вошла в свою роль преподавательницы и сама бы не хотела от нее отказаться. Это, видимо, впоследствии сказалось на избранной мною карьере.

Наступило лето и опять внесло перемены в нашу жизнь. Я неоднократно слышала, что отец переговаривается с братьями относительно их отъезда из Лукоянова, но пока все это ограничивалось одними разговорами. Но вот, в середине июня, обратив внимание на расстроенное лицо матери, я спросила ее в чем дело. Она ответила, что отец и Павел уезжают. Георгий же пока остается с нами.

АРЕСТ ГЕОРГИЯ. СЫПНОЙ ТИФ

После отъезда отца и Павла, мать стала опять подыскивать на этот раз меньшую квартиру. Дядя с тетей и Мариной переехали в деревню к одной из дядиных учениц. Он серьезно занялся преподаванием, которое давало ему, кроме теряющих цену денег, продукты в обмен на уроки.

Вскоре мать нашла квартиру из двух комнат на той улице, где мы жили раньше. Уже к началу учебного года мы туда переехали. Георгий продолжал преподавать латынь в нашей школе. В этом году мне пришлось быть его ученицей. От того факта, что родной брат является моим преподавателем, я ничего не выиграла, а, наоборот потеряла. Сначала я думала, что на латынь время тратить не стоит и лучше заняться другими предметами, но, получив двойку за первую работу, я поняла, что шутить с братом не приходится. Пришлось усиленно нагонять пропущенное и, в результате, эта несчастная латынь заняла все мое время.

Наступила зима, стало холодно, укоротились дни. Жизнь опять вошла в свое русло. Для меня дни летели незаметно и даже весело. Школа, уроки музыки, которая мне давала одна из моих подруг, вечера, на которых мы стали ставить пьесы и другие программы, а затем танцевали в большом зале старой гимназии.

Но вот, к концу октября, началась волна арестов. Первым был взят пожилой помещик соседнего с Лукояновым уезда, поселившийся здесь со всей семьей год тому назад. Как-то утром, еще до моего ухода в школу, прибежала к нам его жена, сильно взволнованная и вся в слезах. Сообщила эту печальную новость. Умоляла мать и брата посоветовать, что предпринять в таком случае.

Не прошло и двух дней, как арестовали двух братьев Мессинг. В городе началась паника. Семей бывших поме-

щиков было к тому времени в Лукоянове – двадцать. Каждый день стали арестовывать то одного, то другого.

Мы с ужасом ожидали нашей очереди.

Ждать пришлось недолго! Однажды, в 12 часов ночи, когда мы уже давно спали, раздался оглушительный стук в дверь. Брат пошел открыть. Ввалилось, по меньшей мере, человек десять вооруженных людей.

Не предъявляя никаких документов и почему-то угрожая револьвером, хотя Георгий никакого сопротивления не оказывал, объявили, что он арестован. Наорали на мать, которая требовала от них ордер на арест или, по крайней мере, объяснения причины его. Я стояла в углу, дрожа от страха, с ужасом глядя на эту банду грубых, грязных, в лохматых шапках и оборванных шинелях людей, которые бесцеремонно шатались по нашей квартире, забирая с собой все то, что попадалось им под руку. Унесли даже мой первый заработок – маленькое колечко с бирюзой, которое я получила в уплату за уроки, даваемые мной одной девочке.

Георгия увели. Мы остались с матерью вдвоем. Я тряслась от рыданий. Было безумно жаль брата и очень страшно за всех нас.

Это было первое непосредственное столкновение с новой властью. Что можно было от нее ожидать? Ведь это была толпа настоящих бандитов.

Через полчаса к нам прокралась соседка, слышавшая все, но боявшаяся показать признаки жизни. Отец ее служил раньше в полиции и, хотя он занимал очень скромное положение, все же ждал теперь каждый день, что и его схватят и бросят в тюрьму.

Моя мать – женщина сильного характера, энергичная и умная, плакать не умела. Все испытания, посланные ей судьбой, переносила молча, и многие думали, что она бессердечный и холодный человек. Я знала, что это не так.

В эту ночь, влив в меня изрядную порцию валерьянки и уложив спать, она не легла, а разбирала до утра все, не попавшее в руки грабителей: бумаги, письма и... мои

дневники.

Когда я проснулась утром, единственно, что она мне сказала: "Какое счастье, что твои дневники не забрали!"... Будучи человеком сдержанным и скромным, она никогда не читала ни моих писем, ни записок. Могу себе представить какой ужас она пережила в эту ночь, читая мои рассуждения о нежелательной и опасной, по моим соображениям, контрреволюционной деятельности отца. Он мечтал спасти государя и царскую семью, вывезя их из Сибири. Как раз одним из исполнителей этого рискованного мероприятия он намечал Георгия. Как-то уже давно, услышав разговор родителей на эту тему и зная отношение матери к любимому сыну, которого она так боялась потерять, я не замедлила занести мои впечатления в дневник. Вскоре же, так как из планов отца ничего не вышло, я даже забыла, что писала об этом. Теперь же прекрасно понимала, что попадись мои записи в руки "чекистов", Георгий был бы неминуемо расстрелян.

Две толстых тетради моих дневников в ту же ночь были матерью сожжены.

Днем прибежала двоюродная сестра, переехавшая с семьей тоже в Лукоянов, и сообщила, что в ту же ночь арестовали ее мужа и двух его братьев. Она сама была в ожидании своего первого ребенка. Ей стало так плохо после обыска, длившегося несколько часов, и ареста близких людей, что пришлось вызывать врача. Только теперь, несколько придя в себя, она прибежала к нам сообщить эту печальную весть. Матери пришлось еще успокаивать эту молодую женщину, обещав помочь ей и взять к нам двух детей — ее племянников, оставшихся теперь на ее попечении.

Аресты продолжались, и в течение нескольких дней все мужчины, принадлежащие к кругу наших друзей, были забраны. Помимо их, все "подозрительные" жители города переполнили городскую тюрьму.

Мать выхлопотала пропуск на свидание с Георгием и взяла меня с собой, уступив моим настоятельным прось-

бам.

Рано утром, в солнечный, но холодный ноябрьский день, мать, двоюродная сестра и я двинулись за город, где находилась тюрьма. Когда мы пришли, стояла уже длинная очередь женщин, ожидавших свидания. Среди них было много знакомых. Нас ввели в узкую, продолговатую комнату и стали вызывать арестованных.

Стоял такой гул, царил такой беспорядок, орали тюремщики, что буквально ничего нельзя было разобрать. Наконец, ввели нашего Георгия. При виде его: бледного, худого, обросшего – я в ужасе схватилась за руку матери и не могла произнести ни единого слова. Она же не поддалась тому впечатлению, которое, наверное, и на нее произвел брат, и бодро, даже весело, его приветствовала.

Я только могла поразиться силе ее воли и удивительному характеру. Вокруг слышались взволнованные голоса, рыдания, прерываемые криками надзирателей.

Мать перекинулась несколькими словами с Георгием, стараясь ободрить его, дав даже надежду на скорое освобождение. Я была уверена, что ее решительный и бодрый вид поднял его настроение.

Мы ушли, уведя с двух сторон под руки рыдающую двоюродную сестру, Ксению. Вид ее мужа – встревоженного и жалкого, произвел на нее самое удручающее впечатление и, вместо того, чтобы ободрить его, как сделала мать, она разрыдалась.

К нам присоединились и другие наши друзья, делясь своими соображениями и надеждами на возможность освобождения близких.

Совершенно неожиданное обстоятельство помогло больше, чем все хлопоты и старания добиться правосудия в высших инстанциях нового правительства. В тюрьме вспыхнул сыпной тиф. Грязь, скученность, насекомые – все способствовало распространению болезни. Больница была переполнена. Самых "ярых" преступников перевели в старое, полуразрушенное здание около вокзала, а наших же, вина которых состояла, главным образом, в том, что

они принадлежали к классу "буржуев", как их тогда называли, отпустили по домам.

Город ликовал, забыв даже причину освобождения заключенных, не предвещавшую ничего хорошего. И, действительно, через очень короткое время среди выпущенных появились заболевания тифом. Первой жертвой оказался пожилой господин Зыков, муж приятельницы матери. Так как в больнице мест не было, он лежал дома и, несмотря на уход жены и невестки, через несколько дней скончался. Заболел старший брат мужа Ксении, и его пришлось отвезти на кладбище. Другие, более молодые, еще боролись с болезнью, принимавшей характер настоящей эпидемии.

Через двенадцать дней по выходе из тюрьмы свалился наш Георгий. Несмотря на ее удивительную силу, у матери стало проглядывать отчаяние. Доктор, наш старый знакомый, посещал регулярно, выписывая нужные лекарства, которых, как правило, за редким исключением, не оказывалось в аптеке. Главное же несчастье состояло в том, что совершенно отсутствовали все необходимые питательные средства, могущие поддержать ослабленный тюрьмой и болезнью организм брата.

Мать дежурила днем и ночью у его постели, не допуская меня даже близко подходить к нему. Когда Георгий засыпал, она бежала к соседям, умоляя достать те или иные продукты в обмен на еще сохранившиеся и запрятанные драгоценности, которые она теперь охотно отдавала за масло, яйца, молоко и прочее. Старый доктор подарил ей две бутылки коньяку.

Вот когда я увидела слезы на ее глазах.

Теперь каждый день мне поручалось сбивать желтки с сахаром и разводить коньяком. Этим напитком поила Георгия по несколько раз в день.

Через месяц она его совершенно выходила, и ни я, ни она не заразились. Георгий больше не вернулся в нашу гимназию, его призвали в Красную Армию, и он покинул Лукоянов.

Меня тоже ожидали перемены. За отсутствием топлива все младшие классы, до пятого, были закрыты. Женскую гимназию и мужское реальное училище соединили вместе. Я была в четвертом, так что для меня возник серьезный вопрос, как я буду дальше продолжать свое образование. Посоветовавшись с матерью, я сказала, что попробую за время каникул, с первого до пятнадцатого января, пройти программу целого года и затем поступить в пятый класс.

На это дело был пожертвован замечательный браслет из бирюзы, окруженный брильянтами, которым я всегда любовалась в детстве и который был обещан мне, когда я выйду замуж. Так как до этого события было еще далеко, то браслет был употреблен на более реальное и необходимое дело.

Мать съездила в деревню, где жила ее сестра, и там удачно обменяла браслет на такое количество продуктов, что это спасло нас от надвигающегося голода и дало возможность оплатить трех учителей, с которыми я сразу же начала усердно заниматься.

Никогда, наверное, не забуду этих занятий. Керосину не было, все лампы были изъяты из употребления, единственно, что служило освещением, были крошечные "коптилки", как их называли. Устройство их было следующее: брали плошку, в которую наливали керосин и вставляли фитилек. Ставили это сооружение перед самым носом, тогда только можно было читать с трудом. Январь —месяц темный. Заниматься приходилось с утра и до позднего вечера. Все-таки удалось одолеть все трудности, и в середине января я была принята, к моей невероятной радости, в 5-й класс. Среди пятиклассниц было много моих прежних знакомых девочек и друзей мальчиков. Но самое главное, я была горда, что одолела все препятствия и стала на один год старше.

Пришла весна. Чудная пора в средней России. Растаял снег, потекли шумные ручьи, зазеленели бесчисленные сады, в которых утопал город. Вскоре открыли заколоченный на зиму летний театр в городском парке. Главное

же, в чем невероятная прелесть России (деревни и провинции) запели соловьи. Соловьи были повсюду: и в маленьких приусадебных садиках, и в городском саду и в прилегающей к городу роще. Пение их ни с чем не сравнимое. Мне безумно напоминало Оброчное, когда каждую весну, как только стемнеет, раздавались в нашем парке соловьиные трели. И несмотря на то, что мы ничего не знали о судьбе папы и Павла, несмотря на все растущий голод и неурядицу в стране, разрываемую на части гражданской войной и террором новой власти, часто все забывалось и мы, особенно молодежь, радовались этой пробуждающейся природе, пению птиц, зеленой траве, цветам и... начинали надеяться на что-то лучшее в нашей жизни.

Весной же приехал в командировку на несколько дней Георгий. Он был назначен в закупочную комиссию по приобретению лошадей для Красной Армии. На этот раз ему был поручен наш район, и он мог провести с нами некоторое время. С ним приехал его друг по военной службе, некто Сергей Скрябин. Никакого впечатления на меня этот молодой военный не произвел. По-видимому, это было обоюдно. Я была настолько моложе, что конкурировать с Лукояновскими барышнями, за которыми молодые люди ухаживали, при всем желании не могла.

Тогда никто не мог предвидеть, что через пять лет буду женой этого, пренебрегающего моим юным возрастом, военного.

За эти дни пребывания у нас Георгия моя мать совсем преобразилась. Приехал ее любимец: здоровый, бодрый, веселый.

Между прочим, Георгий заявил нам, что его в скором времени переведут в Симбирск и он хочет забрать нас с собой. Эта перспектива еще более ободрила мать, но очень огорчила меня. Я уже вполне прижилась в Лукоянове, у меня здесь было полно друзей. Любила свою школу. Перспектива все бросить совсем не улыбалась мне.

Через две недели у нас кончались занятия и старшие

классы (к которым теперь и я принадлежала) должны были отправиться в Нижний Новгород для осмотра города, посещения театров и прочих удовольствий. Если мы уезжаем в Симбирск, то я буду лишена всего того, о чем давно мечтала.

Георгий устроил все дела, уезжал, вернулся опять, и день нашего отъезда был назначен на 1-ое июня. Делать нечего, пришлось распрощаться со всеми милыми друзьями, выехавшими в конце мая в Нижний. На душе было смутно. Будущее меня не радовало.

Единственным утешением служило то, что с нами решила ехать одна из моих любимых учительниц – Анна Дмитриевна. Она была очень хорошенькая и симпатичная. Безумно влюбленная в нашего победителя сердец, Георгия, решилась даже на такой шаг, как переезд в незнакомый город, где у нее никакой работы не предвиделось и даже не заручившись обещанием моего брата жениться на ней. Несколько легкомысленно, как находила моя мать. Мне же это очень импонировало. Со свойственной мне экспансивностью, я стала ее просто обожать и злиться на Георгия, что он недостаточно ценит такие приносимые ради него жертвы. Он же, как всегда, был весел и принимал, как должное, подобное проявление любви к своей особе.

Путешествие было скорее приятным. Помещались мы все в полученном Георгием товарном вагоне и с утра до вечера сидели перед широко открытой дверью вагона, любуясь весенней русской природой. В пути Георгий был чрезвычайно нежен к Анне. Я сменила гнев на милость и уже мечтала о возможной свадьбе в Симбирске, что меня примиряло с нашим переездом.

СИМБИРСК

Симбирск красиво раскинулся на берегах Волги и, в полном смысле этого слова, утопал в зелени. Все цвело. Мы все с интересом всматривались в очертания города и окрестных сел и деревень. Единственный человек в нашем вагоне, не разделявший наших восторгов, была старуха кухарка, которая, потеряв место у своих бывших "господ" в Лукоянове, попросила мать взять ее с собой, если даже не к нам, то хоть помочь ей устроиться в большем, чем Лукоянов, городе. Но эта Марфуша, не имея никакого представления о географии России, почему-то считала, что если Симбирск родина Ленина, то он должен быть, по меньшей мере, как Петроград, в котором она раньше жила и который обожала. Ее недоумение и разочарование при приближении к Симбирску было велико. Завидя его издали, она сообразила, что никакого сравнения с Петроградом быть не может и ей придется опять "прозябать" почти что в провинции, которую она ненавидела всеми силами души. Ее рассуждения и возмущение потешали всех нас, и мы старательно убеждали ее, что в провинции, особенно на Волге, теперь жить гораздо лучше, спокойнее и сытнее. Все эти слова никакого впечатления на нее не производили.

В Симбирске жила сестра моего отца с внуком. Мой дядя и двоюродный брат (друг моего детства) ушли с Белой Армией. Родители маленького Арсения (внука тети) покинули тоже Россию со старшим сыном и жили за границей. Арсения временно оставили у бабушки в Симбирске, где он так и застрял из-за невозможности переправить его к родителям. Тетя Ада нашла нам квартиру поблизости от ее бывшего дома, в котором теперь она занимала две комнаты, что считалось большой роскошью.

Мать моя, с юных лет в дружбе с тетей, была особенно рада тому обстоятельству, что, кроме меня и Георгия, у нее будет по соседству большой друг.

Так как мы приехали в начале июня, то до 1-го сентября я была свободна от школьных занятий и занялась изучением города и окрестностей, которые меня очень интересовали, ибо Симбирск был родиной одного из моих любимых русских писателей – Гончарова. В своем романе "Обрыв" он описал очень красивое место недалеко от города. Осмотр "Гончаровского обрыва" был первым занимательным событием в моей "Симбирской эпопее".

В то же время моя мать усиленно искала работу и вскоре устроилась машинисткой в одном железнодорожном учреждении, помещавшемся на нашей улице.

Брат разъезжал по служебным делам, а будучи в Симбирске, помогал Анне с ее устройством на новом месте. К счастью, она тоже скоро получила работу. Думаю, что в ее случае, главную роль сыграла ее чрезвычайно привлекательная внешность.

Моя жизнь протекала в прогулках, доставлявших мне большое удовольствие, и в утомительных и несносных походах на базар со знаменитой кухаркой Марфушей, которая, за ненахождением пока другого места, поселилась у нас.

Эти походы вскоре превратились для меня в настоящую муку. Не говоря уже о том, что с нашими ограниченными средствами было очень трудно приобретать все необходимое, самое главное заключалось в невозможном характере этой Марфуши.

Она возненавидела Симбирск, роптала на свою судьбу, занесшую ее в такую даль от любимого ею Петрограда. Беспрерывно бранила во весь голос и "на все корки" советскую власть – причину всех ее несчастий, как она считала.

При матери и Георгии она не решалась очень расходиться, но мое присутствие ее словно еще более вдохновляло, ибо я не могла запретить ей так себя вести и поневоле

являлась молчаливой слушательницей ее ярых нападок. Абсолютно все, пока мы шли на базар, вызывало ее возмущение. Если извозчик хлестал кнутом лошадь — вина советской власти, позволяющей истязать животных. Если попадались навстречу жалкие, бездомные собаки — опять-таки советская власть виновата — довела страну до такого голода. Марфуша обожала животных и считала, что забота о них входит в прямую обязанность правителей города.

Иначе, как "иродами" она не называла всех тех, кто имел какое-либо отношение к администрации города. Все у нее были большевиками, коммунистами проклятыми, извергами. Всем она жаловалась, кто только ни встречался на пути. Часто она просто останавливалась по дороге на базар и начинала изливать свою злобу на кого придется. Мои попытки увести ее вперед успеха не имели. Видя только мой ужас, она кричала еще больше, как бы желая показать свою независимость и храбрость. В результате эти походы занимали не меньше двух, трех часов. На самом базаре она тоже не торопилась найти то, что нам было нужно, и уйти поскорее, а наоборот, часто даже собирала вокруг себя сочувствующую толпу и тогда уже не знала границ.

До сих пор не понимаю, как все-таки попадающиеся изредка милиционеры не арестовали буйную старушку. Видимо, тогда еще на таких старых крикуш не обращали внимания. Достаточно было дел с молодыми и более опасными.

Возвращаясь домой, я умоляла мать не посылать меня больше на базар, но хитрая старуха уверяла, что она не может справиться одна, ибо города еще не знает и я ей необходима. Переспорить ее не удавалось. Мать делала ей внушение, та, казалось, внимательно слушала, чтобы на следующий день начать все сначала.

Спасли меня подошедшая осень и начавшиеся занятия в средней школе. Наши походы на базар прекратились. Марфуша стала делать закупки самостоятельно и, казалось, несколько успокоилась.

Но раз все-таки ее привел разгневанный милиционер. Не удовлетворившись обычной бранью, с пожеланиями всем коммунистам провалиться "в преисподню" (ее любимое выражение), на этот раз она остановилась около дома, где когда-то жил Ленин с семьей, и начала призывать прохожих в свидетели, что вот этот "антихрист" виновник того, что в стране бедствия, что на базарах "хоть шаром покати", что люди мрут от голода, тифа и начавшейся холеры. Ее окружили и многие сочувствовали. Так как ее "громовая речь" затянулась, то, в конце концов, привлекла внимание "блюстителя порядка", который, не взирая на ее сопротивлeние, все же скрутил ей руки и привел домой. На ее счастье, парень оказался довольно миролюбивым (а может быть, и ему-то самому было тошно от советской власти), но он ограничился только замечанием хозяину нашей квартиры, чтобы не пускали старуху на улицу, так как если попадется еще, то не миновать ей тюрьмы за ее антисоветские выпады.

Матери все это было крайне неприятно, и, при первой возможности, она устроила Марфушу в одну семью, которая уезжала в Петроград и обещала сдать ее бывшим хозяевам.

Мы вздохнули с облегчением и, хотя мне приходилось теперь до занятий одной бегать на рынок, я была счастлива и делала это гораздо быстрее.

Эпидемия холеры, продолжавшаяся все лето, к осени пошла на убыль, никого из нас не затронув.

Школа принесла мне много разных развлечений, новых знакомств, друзей и подруг. Георгий вечно куда-то уезжал. Когда бывал в Симбирске, то навещал милую Анну, но уже чувствовалось, что прежней любви между ними нет. Постоянство у моего брата отсутствовало.

Мать продолжала служить и, казалось, жизнью в Симбирске была довольна.

Весна опять принесла перемены.

Георгия перевели в Оренбург. Ехать за ним не было никакого смысла. Вернулся из Сибири мой двоюродный

брат Павел, четырнадцатилетний мальчик, похоронив там отца. Поход Колчака закончился полной неудачей. В доме тети одновременно поселились радость и горе. Сын вернулся, муж погиб.

В это время мама получила через Швейцарию длинное письмо от отца. Он подробно описывал все перепитии, пережитые им и Павлом. Добравшись до юга, они примкнули к Врангелевской армии, сражавшейся на стороне Белых. Павлу было поручено командование сотней Дагестанского полка, отца приняли младшим офицером. Война не прекращалась. Красные наступали. Отчаянные сражения на Крымском перешейке стоили Павлу жизни. Он был тяжело ранен в позвоночник и, если бы остался жив, то был бы навеки инвалидом. В ужасных мучениях скончался. Его смогли похоронить со всеми военными почестями. За гробом, покрытым алым башлыком, вели лошадь Павла, а далее следовали офицеры и всадники, во главе с командиром Амилахвари.

Отец описывал свое полное отчаяние, потеряв любимого сына, ничего не зная о нас и видя неминуемое поражение Белой Армии.

Спустя две недели после похорон Павла, он, вместе с обоими братьями (Сергеем и Николаем), эмигрировал в Турцию, а оттуда попал в Париж. Теперь жил в Париже у одного французского графа (Де-Трасси), который когда-то, в былые времена, приезжал на охоту в Оброчное. Теперь же, в память прошлого, приютил беглецов.

С помощью этого же графа, через швейцарский Красный крест, ему удалось найти нас.

По получении этого письма, мы долго горевали. Мне особенно было жаль мою мать, которая теперь потеряла третьего из своих пятерых детей. Я долго не могла свыкнуться с мыслью, что Павла больше нет. Так как я его не видела мертвым, как это было с Васей, то мне казалось, что он еще должен вернуться.

Через некоторое время после папиного письма я сидела в нашей комнате при открытом окне и вдруг увидела, как

с улицы залетела огромная, пестрая, красивая птица — попугай. Это было таким необычным явлением, что я сидела, боясь пошевельнуться, чтобы ее не спугнуть. Но попугай не намерен был улетать и расположился у нас, как дома.

Русские суеверны. Залетевшая птица означает душу умершего близкого человека, которая будто бы дает, таким образом, о себе знать.

Я не сомневалась, что мать будет не менее меня поражена визитом нежданного гостя. Радости он ей тоже не доставит. Все же выгонять попугая мне было жаль. Он забавно заговорил, но понять было трудно. Я закрыла окно и пошла посоветоваться с соседями. Все прибежали смотреть, даже принесли нашедшуюся у кого-то клетку. Советовали дать объявление в газетах, а пока подержать его в надежде, что хозяева откликнутся и заберут.

Действительно, дня через два пришла девочка лет восьми с матерью. Оказывается, девочка была безутешна от исчезновения принадлежавшей ей птицы и пришла в неописуемую радость, прочтя наше объявление в газете. Мать рассказывала, что попугай живет у них уже несколько лет и никогда до сих пор не было такого случая, чтобы он вылетел из квартиры.

Некоторое время после этого, я находилась под впечатлением странного посетителя, но скоро забыла. Осенью того же года тетя получила письмо от одного из братьев, извещавшее о кончине моего отца в Париже летом текущего года. Тетя, очень суеверная, напомнила нам об июльском госте.

На этом втором письме из-за границы вся связь с родственниками оборвалась на долгие годы.

Этот же год в Симбирске остался в памяти одним приятным происшествием. Американцы организовали помощь голодающим на Волге. В Симбирске открылось новое учреждение АРА. Туда стали брать на работу всех знающих английский язык и умевших писать на машинке. А, кроме того, те, у которых были родственники за границей, стали получать через американскую миссию посылки

как продуктовые, так и вещевые. Нам прислали родственники из Голландии. Одна из маминых сестер была замужем за русским консулом еще при царском правительстве, жившем в Гааге. Дядя давно умер, но голландские власти оставили семью жить в том же доме, где когда-то помещалась контора консула. Родственники разыскивали мать через Швейцарский Красный крест и, получив наш адрес, внесли в Голландии какую-то сумму для выдачи соответствующего количества продуктов.

Получив вызов АРА, мама послала меня одну, предполагая, что будет маленькая посылка, которую я легко донесу домой.

Распределяющий вещи и продукты американец, через переводчика, расспросил меня о нашем материальном положении и снабдил меня таким количеством вещей, что я не в состоянии была и половину забрать с собой. Попросив разрешения оставить все пока у них, я побежала в центр города, где всегда около магазинов, собора и театра дежурили нищие. Пришлось нанять двоих, пообещав им часть получаемых мною богатств.

Чего, чего только не было в приготовленных милым американцем пакетах: сахар, жиры, кофе, мука, сгущенное молоко и, что меня особенно обрадовало, 2 отреза на пальто (для матери и меня) и материал для платьев. С торжеством вернулась домой, щедро наградив двух моих провожатых давно ими невиданными продуктами.

Одновременно с помощью нуждающемуся населению Симбирска, американцы стали снабжать и школы. Прекратились наши обеды из селедки и сушеной трески, появилось молоко в порошке и банках, всевозможные консервы и белый хлеб.

Этой же осенью нашу школу реорганизовали в Педагогический Техникум и занятия стали вечерними. Это дало мне возможность искать работу. Вскоре, с помощью отца моей школьной подруги, я была принята конторщицей в Губфинотдел. Зарплата была минимальная. Полученную за первый месяц я истратила на пять аршин ситца, из кото-

рого моя мать сшила мне платье. Благодаря американской помощи, я в это время стала обладательницей трех туалетов, что считалось невероятным богатством.

К тому времени инфляция достигла громадных размеров.

Главными поставщиками товаров по "черным ценам" или на "обмен" служили татары. Между прочим, моя тетка доверилась одному татарину и отдала ему на хранение целую коробку драгоценностей, считая, что у него они в большей безопасности, чем у нее. Обратно она их никогда не получила. Татарин сказал, что у него забрали. Возможно, что это правда, кто мог проверить? Во всяком случае тетя с внуком Арсением и подростком сыном, Павлом, осталась ни с чем. Хорошо еще, что кто-то вразумил ее не отдавать всех вещей, а купить корову. Вот теперь эта корова выручала. В то же время она усиленно хлопотала отправить внука к родителям во Францию. Красный крест в Швейцарии занимался подобными делами. Сына же ее удалось устроить курьером в то учреждение, где работала мама.

В ту же зиму я заразилась тяжелейшей формой кори от маленького Арсения, которого я обожала и с которым проводила все свободное время, играя в солдатики. Мальчик поправился быстро, в его возрасте это заболевание считалось не очень серьезным, но мне уже было шестнадцать лет, и я еле-еле поправилась, пролежав в постели в абсолютной темноте (боялись за мои глаза) больше трех недель.

Весной неожиданно получили известие, что Георгий женился. Жена его – Зоя, двадцати двух лет, прехорошенькая блондинка, о чем мы могли судить по присланной фотографии. Георгий извещал, что скоро с женой приедут к нам.

Меня это новое обстоятельство – женитьба брата, очень радовало. С нетерпением ожидала приезда невестки. Мать же была настроена весьма скептически: "Кто она? Как ее фамилия? Ничего не пишет. Откуда только он ее выкопал?" Я никак не могла понять, какое значение имеет ее бывшая фамилия, если она теперь жена Георгия и будет



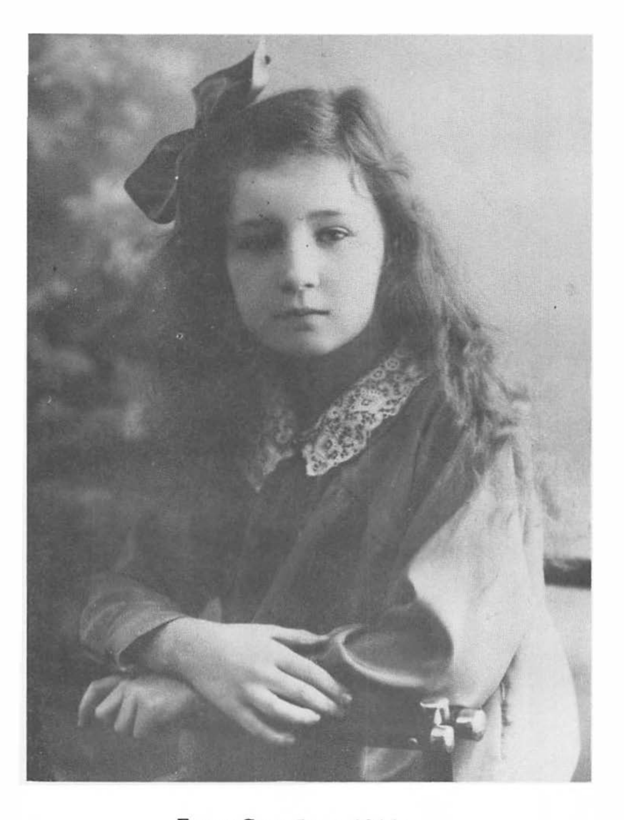
Елена Скрябина. 1911 г.



Оброчное. 1914 г.



Елена Скрябина и братья. 1911 г.



Елена Скрябина. 1914 г.



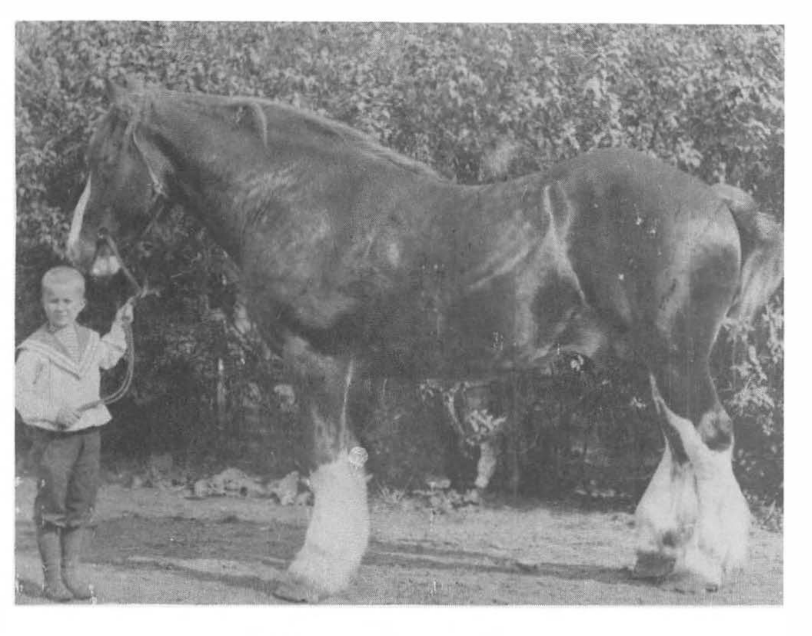
Елена Скрябина и школьные подруги. 1919 г.



Мать Елены Скрябиной. 1908 г.



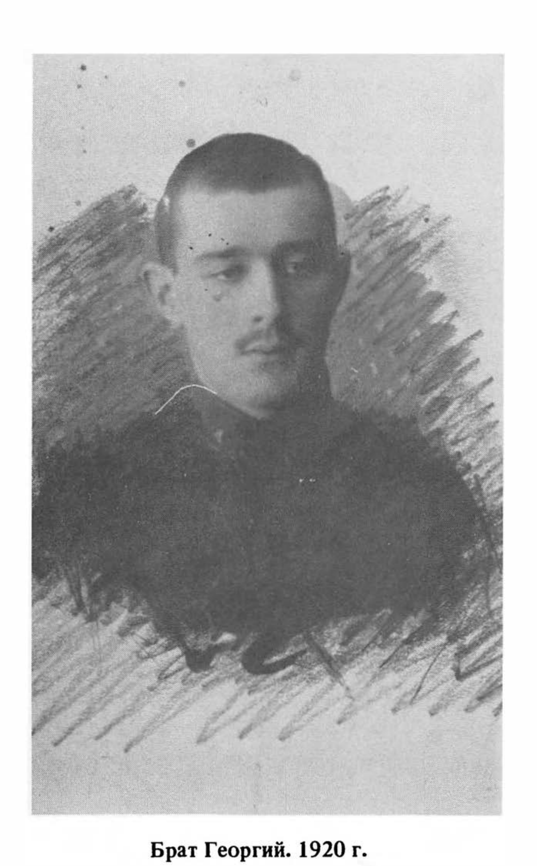
Мать Елены Скрябиной. 1914 г.



Оброчное. Брат Павел.



Брат Вася незадолго до смерти. 1913 г.



Брат Георгий. 1920 г.



Елена Скрябина. Нижний Новгород. 1917 г.



Елена Скрябина. Симбирск, 1920 г.



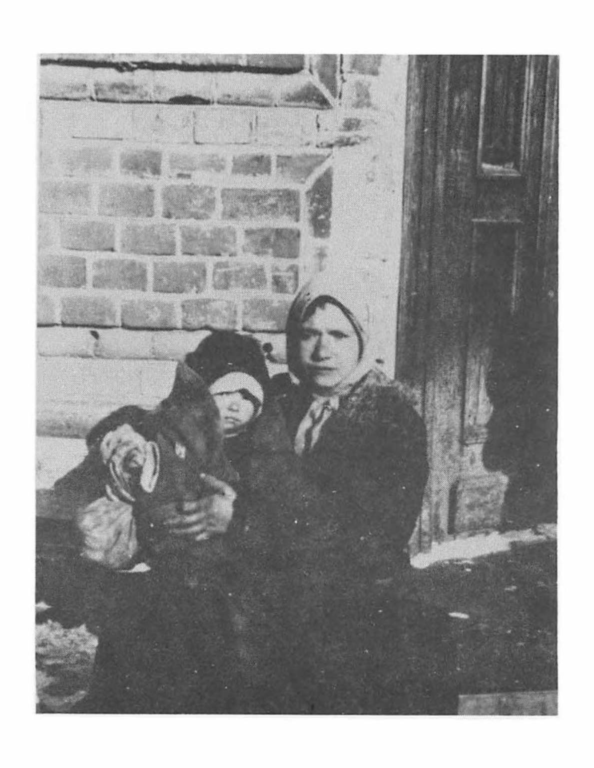
Елена Скрябина. Симбирск, 1921 г.



Помощь Америки голодающим России
(эта и последующие четыре фотографии)


ARA
Администрация









Дом в Ленинграде, а котором жили Скрябины.



На даче с Слфроницкими в 1935 году.
Слева сын Софроницких Саша, его мать – дочь композитора Скрябина, сам Софроницкий, Елена Скрябина. Во втором ряду муж Елены Скрябиной. Впереди их сын Дима, подруга Женя и мать Елены Скрябиной.



Елена Скрябина с сыном Димой. Ленинград, 1928 г.



Елена Скрябина с мужем после свадьбы. Ленинград, 1925 г.



Елена Скрябина. Ленинград, 1929 г.



Елена Скрябина. Ленинград, 1934 г.

носить его имя. Мать возмущалась, как я, по ее выражению, ''осоветилась''. Ведь фамилии в старой России играли большую роль. Совершенно неприемлемым казалось, чтобы сын женился на какой-нибудь Птицыной, Пузановой, Собачкиной... Мать даже жаловалась моим подругам, которые так же, как и я, ничего не понимали. Не решаясь спросить ее, почему она так волнуется, потом донимали меня, чтобы я им объяснила, как это моя мать, еще не зная Зою, уже как будто недовольна выбором брата.

Вот когда впервые между мною и матерью, которую я обожала, возникли первые недоразумения, вызванные совершенно противоположными взглядами на действительность. Она была воплощением старой России, а я уже – советский продукт.

Вскоре приехали наши ''молодые''. Георгий был, по-видимому, очень счастлив, шутил со всеми, подтрунивал над матерью, что бывшая фамилия его жены – Мышкина и, если вспомнить ''Идиота'' Достоевского, то фамилия эта не только дворянская, но даже княжеская. Зоя потешалась вовсю, ибо прекрасно знала, что к князьям никакого отношения не имела. Она оказалась, действительно, прехорошенькой, изящной и хрупкой, но с ''благородством'' ее происхождения матери моей пришлось смириться. Зоя была дочерью Оренбургского мастерового и уборщицы того учреждения, где служил Георгий.

Георгий уже был штатским, война с Белой Армией закончилась, и прошла необходимость в закупке лошадей для фронта. Он был гораздо более доволен своим настоящим положением, так как теперь был свободен в выборе как работы, так и местожительства. Оренбург нравился Зое, Георгий же больше стремился на Волгу.

В Симбирске он не смог найти подходящего для себя занятия и стал мечтать о переезде в Нижний Новгород, где было больше возможностей устроиться на хорошую работу. Нижний больше Симбирска и был знаменит своей ярмаркой, привлекающей людей из всех городов и местечек Советского Союза. На ярмарке шла оживленная тор-

говля и открывались всевозможные новые учреждения.

В Ярморочный Комитет тоже набирали много служащих.

Опять наш непоседа Георгий смущал мой покой вопросом нового переезда. За эти три года, проведенные в Симбирске, я очень привыкла к этому красивому городу, расположенному на правом высоком берегу Волги. В Симбирске было много садов, великолепная набережная Волги, носящая название "Венец", который не уступал по красоте Нижегородскому "Откосу". С "Венца" открывался прекрасный вид на другой, низкий берег Волги, утопающий в зелени. Посередине Волги тут и там виднелись маленькие островки, куда в летние месяцы жители города переправлялись на многочисленных лодках и устраивали на этих островах пикники. Что мы тоже часто проделывали с моими многочисленными друзьями. Было два театра, в одном из которых я даже начала выступать в организованном одним из моих друзей любительском кружке. Это доставляло мне истинное наслаждение. Играла я обычно комических старух, что, благодаря соответствующему гриму и костюму, давало мне больше уверенности. Никто из знакомых в публике меня не узнавал. Спектакли наши пользовались большим успехом, и посещаемость превосходила все ожидания. Когда зал гремел от хохота над моей комичной фигурой и измененным до неузнаваемости голосом, я чувствовала себя настоящей артисткой и радовалась совершенно неожиданно избранной карьере.

И вдруг все должно теперь рухнуть.

Кроме того, конечно, уже завелись романы не только с гимназистами и реалистами, но и с коллегами по сцене, которые были постарше и представляли собой больше интереса для молоденькой девочки. Я была безумно влюблена в нашего режиссера, двадцатишестилетнего молодого человека, который мне уже казался весьма солидным, чуть ли не пожилым человеком. Особенно же, когда я узнала его прошлое, а именно пребывание в Белой Армии с которой он несколько лет назад покинул Сим-

бирск, чтобы вернуться теперь овеянным ореолом таинственности, ибо за ним следили. Как ненадежный элемент он ежемесячно должен был регистрироваться в отделении милиции. Это все придавало ему особый интерес и разжигало любопытство девушек моего возраста. Быть "избранницей" такого незаурядного человека страшно мне льстило. Мать моя относилась к нему вполне благосклонно, главным образом потому, что он служил в Белой Армии, к которой склонялись все ее симпатии. Ей было очень тяжело примириться с фактом, что Георгий был призван в Красную Армию и, хотя не был в действующей, все же являлся противником родного отца и брата, воюющих вместе с белыми.

Итак, Слава (имя моего друга) был фаворитом матери и моим большим увлечением.

Разлука предстояла и с ним, если планы Георгия победят мое сопротивление и мать решится на новый переезд.

Пока что ни к какому решению не приходили.

Мать сильно колебалась. В Симбирске мы обе служили, а я даже получила первое повышение, заняв должность помощника делопроизводителя. За мои театральные выступления я получала гонорар, правда небольшой, но очень льстивший моему самолюбию. Жить мне казалось очень весело и советская власть не мешала...

Георгий, видя наше холодное отношение к планам переезда, решил двинуться пока с Зоей и посмотреть, что можно ожидать в Нижнем Новгороде.

Неожиданное происшествие перевернуло все.

Однажды ночью я проснулась от какого-то странного запаха в нашей квартире. Разбудив мать, вышла в коридор и, к своему ужасу, увидела, что весь конец его объят пламенем. Хотя это было еще сравнительно далеко, но в нашу комнату уже тянуло дымом. Первым моим импульсом (кстати очень неудачным) было открыть окно на улицу и кричать о помощи. Телефонов в доме не было, и дать знать пожарной команде не представлялось возможным. Разве только услышат соседи или случайно

задержавшиеся прохожие, на что я и надеялась.

Но... от волнения я не закрыла ни окна, ни двери в коридор, вследствие чего возникла сильная тяга и дым заполнил квартиру, вплоть до нашей комнаты. Схватив первые попавшиеся вещи мы выскочили через парадное крыльцо на улицу. Георгий с женой жили у знакомых и ничего до утра о пожаре не знали. К утру же, несмотря на помощь подоспевших пожарных, дом наполовину сгорел, а наша комната, хоть и осталась цела, но была настолько пропитана дымом, что почти все вещи пришлось бросить. Жить в этой квартире не представлялось возможным, найти же новую было нелегко.

Это обстоятельство сыграло роль решающего фактора в нашем немедленном переезде в Нижний Новгород.

Со свойственным русским суеверием пришли к заключению, что такова наша судьба!

НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Симбирске, на пристани, стояла семья огорченной тети, она сама и мой друг Слава, ошеломленный и убитый моим неожиданным отъездом. Пароход давно отплыл от берега, а я все еще была на палубе и ревела в три ручья. Казалось, что жизни пришел конец. Никакие уговоры матери, Зои и Георгия не действовали. Убедившись в бесплодности своих попыток успокоить меня и увести в каюту, они, по-видимому, решили, что время лечит все раны, особенно же любовные драмы семнадцатилетней девочки, и ушли спать.

Я же так и не двинулась с места и только, когда на рассвете появились любопытные уборщики палубы, решила ретироваться и скрыть от их взглядов свое покрасневшее и опухшее от слез лицо.

За три дня путешествия, я, хотя еще продолжала грустить, но, часто выходя на палубу, стала любоваться прелестными видами волжских берегов. Первоначальное отчаяние меня покинуло. Природа всегда производила на меня сильное впечатление, а Волга в начале июня да еще в дивную погоду представляет собой незабываемое зрелище.

Нижний Новгород – город моего раннего детства.

С первых же дней эти детские воспоминания охватили меня. Мы остановились в старой гостинице, где всегда раньше останавливались, когда случалось посещать Нижний, и где мы с мамой жили весной 1917-го года, когда меня привозили держать экзамены в Нижегородскую гимназию.

На другой же день пошла бродить по городу. Вот дом, где родилась и жила до семилетнего возраста, теперь в нем ЗАГС -- регистрация браков гражданского состояния. Иду дальше – здание бывшего Нижегородского дворянс-

кого института, где учились братья. Теперь в нем отделение Педагогического Института. Вот и Кремль, где жила семья дяди, с детьми которого я была очень дружна. Дядя служил секретарем канцелярии губернатора. Теперь в Кремле Городское управление.

Многое переменилось за эти годы, но все же все такое близкое, родное.

А вот и моя любимая Волга! – широкая красавица Волга с прекрасными зелеными берегами, она – все та же. Долго стояла на берегу и не могла оторваться от представившейся мне дивной картины. Так же, как и в Симбирске, противоположный берег пологий и сплошь покрыт зеленью садов. Кое-где раскинулись деревни, а посередине Волги островки. Медленно проплывает громадный пароход.

Каково ни будет наше будущее, а все же хорошо вернуться в родной город.

В первый же вечер Георгий привел к нам, жившего теперь в Нижнем Новгороде своего друга по службе в Красной Армии Сергея Скрябина, который когда-то навестил нас вместе с ним в Лукоянове. Скрябин пообещал посодействовать Георгию в подыскании работы.

Нам надо было тоже срочно устраивать нашу жизнь. Мы с матерью записались на Биржу Труда, без которой нельзя было никуда поступить. Георгий отправился прежде всего в Жилотдел. Надо было стать на учет, чтобы получить квартиру. Потерпел фиаско. На учет не брали, пока у кого-нибудь из членов семьи не будет постоянной работы. Попытки Георгия в смысле работы для него самого успехом не увенчались. Ярмарка открывалась только в начале августа, теперь же был июнь – время самое неудачное для поисков службы.

В результате, первой устроилась, совершенно неожиданно, я.

Мой приятель раннего детства, сын маминой подруги, узнав о моей "артистической" карьере в Симбирске, решил поставить пьесу на торфоразработках, где он сам

жил, недалеко от Нижнего. Я, конечно, согласилась принять участие в этом спектакле, устраиваемом в клубе для рабочих. Во главе предприятия стоял толстый, средних лет директор, который настолько пленился моей игрой, что, по окончании спектакля, захотел познакомиться. Расспросив меня, что я делаю в Нижнем Новгороде, откуда приехала и прочее и узнав, что я ищу работу, велел на другой же день ехать с ним в Городское управление Нижнего Новгорода, где обещал познакомить меня с нужными людьми.

С этого дня начался в моей жизни тот "блат", который играет первостепенную роль в Советском Союзе с первых же дней появления советской власти и по сей день.

Не прошло и трех дней, как я уже получила место в Нижегородском Архивном Управлении в качестве конторщицы. Что было особенно важно, что в том же здании, где помещался архив, нам с мамой была предоставлена комната, правда довольно странной формы, в виде треугольника, к тому же в очень запущенном состоянии, но все же это была комната, где можно было, через некоторое время, поселиться.

Мать моя на время ремонта была приглашена приятельницей в Горбатовку, как раз на те торфоразработки, где я подвизалась на сцене и познакомилась с директором, сыгравшим такую роль в нашей судьбе.

Георгий же, отчаявшись найти что-либо подходящее для себя и под сильным влиянием Зои, решил вернуться в Оренбург.

Меня сразу же захватила жизнь на новом месте и масса новых впечатлений. Мать восстанавливала старые знакомства и связи. Ведь она прожила в Нижнем Новгороде лучшую пору своей жизни, в общей сложности двадцать лет.

Старые друзья уговорили ее не искать службы в советских учреждениях, где предпочитали молодежь, а заняться шитьем. До сего времени она шила только на меня, но, как я уже упоминала в начале моих записок, мои туалеты в детстве славились своим изяществом. Теперь был боль-

шой недостаток в хороших портнихах. Женщины опять начали хорошо одеваться. Времена военного коммунизма, когда высшей роскошью были обтрепанные военные шинели (с обязательной бахромой внизу) и ватные брюки (даже для девушек), отошли в вечность.

Советская власть уже твердо установилась, недостатки военного коммунизма стали забываться.

Мать послушалась и, бросив бесплодные поиски службы, пока еще сидела в деревне в ожидании окончания ремонта нашего будущего помещения. Поиски рабочих и присмотр за ними были поручены мне.

Я не оправдала возложенных на меня надежд. Первый же рабочий, начавший белить комнату, потребовал у меня уплату вперед (мы договорились, что я дам ему меховой воротник, ибо за деньги, теряющие свою ценность, никто работать не хотел). Я с полным доверием отдала ему бобровый воротник, который мать еще не успела обменять на продукты и берегла на всякий, как говорится, "пожарный случай".

Получив это богатое вознаграждение, сей субъект больше не явился. Я не решалась сообщить матери о подобной истории, в которую по легкомыслию попала, постаравшись исправить недоделанное им. Один из моих новых сослуживцев, которому я пожаловалась на такое надувательство, проявил ко мне жалость и докончил начатую работу безвозмездно.

Пока комната ремонтировалась, я жила у соседки — сторожихи архива, в том же доме.

Мои сослуживцы, за исключением того молодого человека, который помог мне с ремонтом, были все весьма почтенного возраста. Относились ко мне прекрасно. Их, видимо, радовало, что на их горизонте появилось молодое существо, развлекавшее их в перерывы, которые теперь затягивались на более продолжительное время. Говоря по правде, вообще-то в архивном управлении почти никакой работы не было. Всех служащих устроил директор этого "богоугодного" учреждения, престарелый бывший

помещик Приклонский. Ему каким-то образом удалось войти в доверие нижегородских властей, и они никакого внимания на избранный им штат служащих не обращали.

Когда все было закончено с нашей квартирой, я вызвала из деревни мать. Она приехала и нашла, что я прекрасно выполнила возложенное на меня поручение. Нашла, что наше новое жилище даже весьма уютно. Этим уютом я была обязана директору, который разрешил мне взять необходимую мебель из склада бывшего дворянского собрания. Я выбрала несколько столиков, две небольших шифоньерки и два кресла. Кровати пожертвовали знакомые. Что меня очень смущало, что все эти вещи, за исключением кроватей, конечно, были позолочены и совсем не подходили к довольно убогому виду нашей комнаты... Других же вещей на складе не было. Все это являлось "остатками прежнего величия".

Из нашей комнаты дверь вела в темный коридор, по которому почему-то постоянно бегали поросята, принадлежавшие соседке – сторожихе. Она их держала в чулане, в противоположной части этого длинного, темного коридора. Они оттуда часто вырывались и с хрюканьем неслись вдоль нашей комнаты, попадая под ноги посещающих меня молодых людей, с которыми я уже успела познакомиться за короткое пребывание в Нижнем. Сначала они шарахались в стороны, принимая поросят за крыс. Потом смирились с этим странным явлением и продолжали заходить за мною в кино, театр или на вечера в соседний университет. Меня присутствие поросят смущало только первое время. К чему только не приучишься, живя в нашем советском государстве! Все-таки поросята лучше, чем крысы. Сторожиха вывела крыс сразу же, имея в виду приобретение и разведение свиней, дабы избежать подобного сожительства.

Слава Богу, что это произошло до нас. Я всегда испытывала невероятный ужас при виде крыс. Во время голода в Симбирске они рыскали даже по учреждениям и, за ненахождением съестного, уничтожали бумагу.

К этому времени относится появление у нас "каменной бабы", как мы с мамой ее прозвали. Пришла она в первый раз с просьбой сшить ей платье. Мать огорчилась, что ее первая клиентка такого нерасполагающего вида. Какое платье могло хорошо сидеть на совершенно квадратной, толстой и очень некрасивой женщине? Но что делать? Нельзя было сразу отказать, когда еще другой клиентуры не было. Мать принялась за работу и, к всеобщему изумлению, на толстой Агафье платье выглядело даже довольно прилично. Клиентка наша была в восторге и усиленно вертелась перед золоченым зеркалом, дополнительно выпрошенным мною у нашего директора для "профессиональных" занятий матери.

С этого дня "каменная баба" зачастила, увлекшись мечтой выдать замуж и меня и мать. Почему ей пришла эта идея – неизвестно. Мы нисколько не жаловались на наше "холостяцкое" положение, а как раз наоборот жилось нам в это время вполне привольно. Матери было пятьдесят с небольшим, она была еще очень красива, но о замужестве и не думала, я же была настолько молода, что мне и в голову не приходило связать себя с кем бы то ни было. Как мы не убеждали Агафью оставить нас в покое, она не унималась и почти каждый день, как настоящая сваха, являлась с новым предложением. Где-то она познакомилась с одним вдовцом, лет 45, кстати весьма непривлекательной наружности и с большим самомнением. Родом он был из Нижнего Новгорода, из очень известной до революции семьи местных купцов. Нам тоже изредка приходилось встречаться с ним в домах общих знакомых, но к себе ни мать, ни тем более я его не приглашали. Велико же было наше изумление, когда раз вечером, открыв на стук дверь, мы увидели сначала физиономию Агафьи, а за ней элегантно одетого, любезно раскланивающегося Башкирцева.

Я как раз собиралась в кино с сыном моего начальника, красивым студентом двадцати двух лет, и вдруг эта неожиданная задержка. Однако, по намекам Агафьи, можно было понять, что этого господина она привела в расчете

на мою мать, а не на меня. Воспользовавшись удобным моментом, я выскочила из комнаты. Я не была уверена, как воспримет мать мое сегодняшнее свидание и еще не успела переговорить с ней. В замешательстве, никто не заметил моего исчезновения.

Мне пришлось прождать "моего героя" минут десять на холодной лестнице, но вернуться домой я не решалась.

Проведя прекрасно вечер, сначала в кино, а затем в маленьком ресторанчике с одним из самых интересных людей Нижнего Новгорода, я в чудном настроении вернулась домой и была совершенно огорошена потоком обидных слов, сказанных мне матерью. Оказывается, она догадалась, куда я исчезла, и нашла, что, во-первых, совсем неприлично удирать, не говоря ни слова, когда к нам к тому же еще пришли гости, во-вторых же (и это самое главное!), что такой красивый молодой человек, каким был Петя Приклонский, совсем мне не пара. Он слыл победителем сердец всех барышень Нижнего Новгорода и своим легкомыслием будто бы причинил некоторым много огорчений. Мама была детально информирована все той же Агафьей, которая всюду и везде бывала и пронюхивала даже то, что другим и в голову не приходило. За мной она всегда вела усиленную слежку, о которой я раньше не догадывалась.

Я, конечно, сразу же возненавидела эту сводницу и попросила мать, чтобы она как-нибудь отвадила бы ее от нашего дома. Пожурив меня, мать вскоре успокоилась и со смехом стала рассказывать о нелепом визите сегодняшнего вечера, который затянулся чуть ли не до моего прихода. Так же, как и мне, этот господин был ей неприятен, и она была возмущена наглостью приведшей его Агафьи.

После этого инцидента, мы стали очень холодно принимать эту навязчивую особу, и она, почувствовав наше настроение, к великому моему счастью, почти что прекратила свои посещения и уже не старалась больше водить

нам "женихов".

Все начало моего увлечения Петей было как-то испорчено бесконечными мамиными протестами. После этого вечера, он заходил еще несколько раз, но из нашего "романа" ничего толком не вышло.

Мой симбирский друг, Слава, писал мне очень часто, но мою мать, да и меня тоже, приводил в отчаяние его почерк. Я в жизни не видела ни до, ни после, такого отвратительного, можно сказать, некультурного почерка. И вместе с тем с претензией на что-то. Больше всего я боялась, что кто-нибудь увидит адресованный мне конверт. Сначала мать молчала, но раз все-таки не выдержала и сказала мне то, о чем я уже неоднократно думала и огорчалась.

С этого времени я уже не хотела с ним переписываться и все реже и реже отвечала на его письма. По-видимому, он понял, что со мной что-то происходит. Может быть, подумал, что я влюбилась в другого и... замолчал тоже.

Итак, моя симбирская любовь, казавшаяся мне "вечной" закончилась по прошествии шести месяцев.

21-го января 1924 года, когда по обыкновению, я пришла на работу в контору Архива, директор попросил нас всех пройти в его кабинет и сообщил нам о смерти Ленина. На многих из моих сослуживцев это известие произвело сильное впечатление. Ленину все же верили и боялись худших перемен.

С работы нас всех освободили. Был объявлен день траура.

Весна принесла большие волнения и переживания. На место милого старого директора назначили бывшего начальника милиции из одного из Сибирских городов. Новый начальник, рябой, огромного роста, безобразной внешности, как настоящий полицейский, произвел полную чистку нашего учреждения. Он повсюду собирал сведения, за всеми шпионил, вызывал на допросы и, в результате, всех разогнал. Меня в том числе. Любимым выражением его было: "Здесь старым режимом пахнет". И вот на осно-

вании этого старого режима происходил полный разгром. Для меня самым ужасным было то, что мы должны были освободить свою комнату. Получить что-либо в Нижнем было почти невозможно. Старые дома приходили в упадок и не чинились, новые не строились. Населения же было много, и оно все росло. Многие из деревень стремились на фабрики и заводы, а Нижний – город индустриальный. Я бегала каждый день в Жилищный отдел, стояла в длинных очередях, но никакого толку не добивалась. А грозный начальник, в свою очередь, каждый день являлся к нам и требовал немедленного выселения. Положение становилось безвыходным.

Помог опять мой друг детства, Алексей, познакомивший меня с директором торфоразработок в первые дни нашего приезда. На этот раз дело было несколько другого рода. Он знал одну женщину, бывшую ссыльную при царском режиме. Эта женщина провела год ссылки в Сибири одновременно с новым секретарем Губисполкома, назначенным в Нижний Новгород.

Вот к нему-то они меня и направили.

Пришла я в назначенный день – ни свет, ни заря. Помещение было еще закрыто. Села на бульваре на одну из скамеек и с большим волнением стала ждать назначенного часа. Когда в девять часов меня впустили в кабинет товарища Бурова, весь мой страх как рукой сняло. Он показался мне очень простым и симпатичным. Я высказала свою просьбу, а он еще с полчаса задержал меня расспросами. Расстались мы друзьями, и в руках у меня была записка в Жилищный отдел на право получения жилой площади.

В тот же день на дворе Архива стояла подвода, в которую мои молодые друзья грузили наше несложное имущество. Бывший же начальник милиции, занявший под свою квартиру лучшее помещение Архива, стоял у окна со своей молодой женой и хмуро поглядывал на веселую группу, со смехом и шутками перевозившую меня на новую квартиру.

Мать моя была уже на Тихвинской, где мы получили две крошечных комнатки, в которых она себя чувствовала счастливой и свободной от постоянного надзора рябого тирана.

Сколько еще раз после этого апрельского утра я приходила к Бурову в Губисполком, и он никогда не отказывал мне в просьбах. Так, через него же, я получила во временное пользование пишущую машинку, на которой стала учиться печатать, что имело для меня громадное значение в смысле получения работы. Через него же получила скромную, но солидную (уже больше не позолоченную) мебель. Все мои кресла, шифоньерки и зеркало начальник милиции отобрал в свое пользование.

Теперь я больше не унывала. У меня был верный и сильный защитник. Всякие там начальники милиции не представляли для меня больше никакой опасности.

Женщина, давшая мне рекомендательное письмо к нему, рассказала что в ссылке, в 1912-м году, Буров, тогда еще двадцатидвухлетний юноша, помогал всем и каждому, кто нуждался в помощи. Все ссыльные любили его, и даже царская охранка более благосклонно относилась к нему, чем к другим.

А был он ярым революционером, убежденным большевиком.

Главное достоинство его заключалось в том, что он был справедлив и не терпел людей, подобных новому начальнику Архива, который громил всех и вся только для того, чтобы самому обогатиться за счет других.

Обстановка квартиры Бурова (в бывшем губернаторском доме) была самой примитивной. Жена – красивая, скромная женщина. Когда я приходила, он ее звал и говорил: "Смотри, Катя, сегодня будет у нас хороший день, голубоглазая пришла". Он считал, по-видимому, что я приношу ему счастье.

(Велико было мое изумление и радость, когда спустя почти двадцать лет, я, беженка из Ленинграда, с двумя детьми, попала в Нижний Новгород по дороге на Кавказ,

куда нас эвакуировали и, получив рекомендательное письмо от члена Ленсовета, прошла к начальнику Облисполкома и узнала в нем милые мне черты моего друга юности – товарища Бурова.

И он узнал меня, узнал, несмотря на двадцать промелькнувших лет, несмотря на худобу и появившиеся на лице морщинки – след тяжелых переживаний в осажденном Ленинграде.

Но об этом после, а пока еще мне семнадцать лет, а Бурову немного больше тридцати).

В Нижнем мы прожили до 1925-го года. Много было борьбы и трудных моментов как для матери, так и для меня. Но одно сознание, что когда самим не удается справиться со всеми обстоятельствами и препятствиями, вставшими на нашем пути, можно пойти на бульвар, сесть на скамеечку и подождать, когда откроются железные двери во двор Губисполкома, спасало меня. За этими дверьми находился мой могущественный друг, который всегда был готов протянуть руку помощи.

Трудно было с работой. Только поступишь куда-нибудь, вдруг сокращение штатов, тебя, как последнюю из поступивших, увольняют. Ходишь на Биржу труда, получаешь гроши по безработице. Пришлось переменить несколько мест. К счастью, при помощи машинки, полученной через Бурова, научилась хорошо печатать и сдала экзамен на машинистку. Стало легче устраиваться.

В это время в Советском Союзе процветала Новая Экономическая Политика, установленная Лениным. Жить стало много лучше. Открывались частные магазины, появлялись ремесленники: сапожники, портные.

Совсем невероятным явлением казались частные булочные с прекрасными калачами и другими произведениями кулинарного искусства, от которых глаз совсем отвык. Базары были завалены продуктами. Открывались и разные увеселительные заведения. Просто не верилось, что живем в Советском Союзе, как будто возвратилось прошлое.

Весной 1924-го года нас стал часто посещать Сергей

Скрябин, товарищ брата Георгия, которого он привел к нам в первый вечер нашего приезда в Нижний Новгород. С моим другом детства, Алексеем, переехавшим из Горбатовки тоже в Нижний, и с Сергеем мы часто ходили в театр и кино. Мать благосклонно относилась к такому "триумвирату". С ее старыми, строгими взглядами отпускать девушку вдвоем с молодым человеком казалось совершенно невозможным. Алексей, в данном случае, являлся чем-то вроде моего "Шаперон".

Незаметно промелькнул год с нашего переезда в Нижний Новгород. Еще весной Сергей сделал мне предложение и, хотя я совсем не стремилась связать себя браком, все же, поддавшись уговорам матери, дала согласие и мы зарегистрировались в октябре. Мать была очень довольна, находя Сергея вполне подходящим для меня мужем. Ей импонировали, как его возраст (он был на семь лет старше меня), так и его положительность. Мои многочисленные увлечения волновали ее, и она всегда находила сказать что-нибудь против каждого из моих избранников.

Регистрировались мы в доме Кунцевича, на Ошаре, где мы когда-то жили (теперь в этом доме был ЗАГС, как я уже упоминала). Забавнее всего, что регистрация проводилась как раз в моей бывшей детской комнате.

Венчались двумя неделями позже в полуосвещенной Тихвинской церкви, вечером, при закрытых дверях. Среди приглашенных были только четыре шафера и самые близкие родственники. С моей стороны мама и Зоя. Георгий, к сожалению, не смог приехать к этому дню, но обещал в ближайшее время. Зою он пока оставлял у нас. Она заняла мою комнату и поддерживала компанию моей оставшейся в одиночестве матери. Разлуку со мной мать переживала тяжело, несмотря на то, что я оставалась в том же городе, за несколько кварталов от нашей квартиры. Мы с мужем жили в одной комнате, да и ту нашли с большим трудом. Квартирный вопрос в Нижнем Новгороде стал просто критическим. С начала НЭПа наехало такое множество людей, что некоторые из новоприбывших, подобно бес-

призорникам больших городов, ночевали на вокзалах, в парках (в теплую погоду) и в наскоро построенных бараках на окраинах города.

Еще за три месяца до свадьбы в тот год я поступила на ярмарку, чтобы подработать на самое необходимое "приданое". На свадьбу мне дали три свободных дня, и уже с понедельника я опять сидела за машинкой в ярмарочном бюро. Перемена заключалась лишь в том, что вечерами каждый день за мной приезжал муж, сопровождая меня домой. Это было большим утешением для матери, которая всегда страшно волновалась, если я возвращалась с работы одна. Ярмарка была на противоположном берегу Волги, и путешествие занимало много времени. К свадьбе оброченские крестьяне прислали мне целый сундук с разными весьма необходимыми вещами. Многие эти вещи мать узнала. Они были проданы с аукциона, спустя несколько месяцев после погрома имения. Купившие их крестьяне тщательно хранили все несколько лет, чтобы теперь сделать мне такой драгоценный подарок.

Весь ноябрь и половину декабря Ярмарочный Комитет продолжал работать, чтобы подвести итоги торговли и сдать отчет.

Только в первых числах января я была опять свободной и стала на учет Биржи Труда. Георгий провел у нас Рождество и Новый Год, после которого, забрав Зою, уехал обратно в Оренбург.

После их отъезда мама рассказала мне, что с Зоей не все ладно, она нездорова и хотя всячески скрывала это, мать была уверена, что у нее туберкулез – такая распространенная в Советском Союзе болезнь. По-видимому, юность Зои прошла в очень тяжелых условиях. Родители зарабатывали мало и были обременены большой семьей. Кроме Зои, было еще пять человек младших братьев и сестер. Брак с Георгием вытащил ее из нищеты, но подорванное годами здоровье было трудно восстановить. Я тоже замечала, что Зоя кашляла часто и у нее появлялись красные пятна на щеках. Когда я ее спрашивала, она

говорила, что простудилась по дороге к нам из Оренбурга.

Моя мать прониклась большой симпатией и жалостью к этой тоненькой, слабенькой, золотоглавой невестке с большущими серыми глазами на маленьком, худеньком личике. Зоя была тихой и ласковой со всеми, начиная с обожаемого ею Георгия. Ни в ком она не могла вызвать антипатии, настолько она была приветлива и мила. Я ее очень полюбила, и ее болезнь меня огорчала и волновала.

Первые месяцы моей замужней жизни были омрачены этим печальным обстоятельством, свалившимся на голову брата и его жены.

БАЛ-МАСКАРАД

В феврале городским управлением был устроен громадный вечер — бал. В десяти киосках жены крупных административных работников города должны были продавать различные вещи — безделушки, цветы и сладости в пользу строительства нашего города.

С января месяца того года я посещала курсы стенографии.

Моей соседкой в классе оказалась жена Лазаря Кагановича (сам Каганович в это время заведовал Нижегородским Промторгом). Мы с ней очень подружились и помогали друг другу овладеть "сей наукой", которая давала прекрасные возможности устраиваться на разные работы.

Когда возникли разговоры об устраивавшемся "базаре", Кагановичи предложили и меня включить в число участниц и поручить мне один киоск. Я была польщена и очень довольна. Единственно, чего я боялась, что мой киоск заработает меньше других и это будет отнесено за счет моего неумения вести подобные дела. Поэтому я заранее сообщила всем моим друзьям, что буду продавать на костюмированном балу и уговорила всех запастись билетами. Моя золовка, сестра мужа, сшила мне прелестный костюм из белого шелка с вытканными по нему золотистыми апельсинами.

Когда я поместилась в приготовленном уже, красиво разукрашенном киоске, я стала рассматривать всех других продавщиц и приуныла, убедившись, что попала совсем не в свою среду и что все эти жены высокопоставленных лиц города несомненно будут иметь больший успех, чем я. Но уже с первых минут начала торговли убедилась, что русская пословица "Не имей сто рублей, а имей сто друзей", абсолютно верна. Все те молодые люди, с которыми я встречалась до моего замужества, коллеги по работе,

студенты курсов, где я занималась и, наконец, сам Буров, безостановочно заполняли мой киоск, выбирая те или иные вещи. Скоро я забыла о существовании других киосков и не интересовалась тем, как и где идет торговля. Я видела, что касса моя все растет и радовалась, что друзья меня так поддержали и не дали мне опозориться.

Итог превзошел все мои ожидания.

Мне кажется, что только одна Каганович искренне радовалась моему успеху, другие же "дамы" города искоса поглядывали в мою сторону.

На другой день получила благодарность от Городского управления за великолепно выполненную мною "работу". Наибольший доход этого вечера принес мой киоск. Я была чрезвычайно довольна и горда.

Вскоре после вечера, доставившего мне так много удовольствия, я совсем разболелась и, не зная в чем дело, пошла к домашнему врачу, дяде Ване, как мы его все звали. Осмотрев меня, доктор сказал, что я была в ожидании ребенка. (Этот доктор впоследствии сыграл большую роль в нашей жизни. Когда, эвакуировавшись из Ленинграда во время блокады, мы задержались по дороге на Кавказ в Нижнем, я навестила нашего старого друга. В то время он занимал очень видное положение в городе. Это он дал мне несколько рекомендательных писем к лицам, от которых зависела наша судьба. В первую же очередь от него я получила письмо к начальнику Городского управления, моему старому другу – товарищу Бурову).

Конец февраля и март прошли в беспрерывном недомогании.

Еще в январе Биржа Труда дала мне направление в Рыбный Комбинат, где я и продолжала работать. Кроме того, по вечерам посещала курсы стенографии. Все это меня утомляло и раздражало. Бросить же ни того, ни другого не хотела.

Характер мой определенно портился. Мать и муж настаивали на том, чтобы я ушла с работы, но я твердо стояла на своем, доказывая им, что мне необходимо зарабатывать,

ибо на один оклад в Советском Союзе существовать слишком трудно.

В апреле получили известие от Георгия, что Зоя тяжело больна туберкулезом, и он отвез ее в Москву. В то время там был известный профессор, славившийся лечением всех легочных заболеваний. Зою положили в больницу. Хотя мы и могли ожидать подобной развязки, но все же печальное известие нас очень огорчило. Мы знали, что Георгий, принимая во внимание его работу, не сможет долго оставаться в Москве и, таким образом, больная Зоя будет там в одиночестве. Вспомнили об одной московской родственнице, которая не служила и не была обременена семьей. В тот же день дозвонились до нее и просили помочь Георгию и поддержать Зою. Мама решила тоже, окончив некоторые срочные работы, уехать в Москву и остаться там столько, сколько этого потребует состояние Зои. Она этого сделать не успела. Через две недели пришла телеграмма, что Зоя скончалась.

ЛЕТО В ОБРОЧНОМ

В мае мужу пришла идея отправить меня с матерью в деревню, а именно в Оброчное, где в своем доме жила моя няня. Мне эта перспектива понравилась. Курсы стенографии закрылись на лето, а от работы в Рыбном Комбинате пришлось отказаться. Я знала, что, если буду хорошо себя чувствовать, смогу опять поступить на ярмарку, которая открывалась первого августа.

Думала я, что никогда больше не вернусь в Оброчное, а вот вышло иначе. Я с радостью отнеслась к предложению мужа, и уже в начале июня мы добрались до Оброчного.

Няня рассказала нам, каким преследованиям она подвергалась в первые годы после революции за то, что служила у помещиков и будто бы спрятала принадлежавшие нам вещи, которые у нее тщетно искали. Няня ничего не брала у нас на хранение, но этому не верили и засадили ее в тюрьму, где ей пришлось отсидеть два месяца. Ее племянник, видный коммунист, вернувшись с фронта, вступился за нее и выручил из тюрьмы. В ужасных условиях, господствовавших тогда в домах заключения, она, как и наш Георгий, схватила сыпной тиф и еле-еле от него оправилась. За эти годы она потеряла старика отца и жила с матерью, занимаясь своим несложным хозяйством и довольно большим фруктовым садом. Няню относили к зажиточным крестьянам, ибо у нее была корова, теленок, двое поросят и куры. Вася, племянник, был ее верной и постоянной защитой, и теперь она жила совсем спокойно, даже не побоялась пригласить нас на это лето.

Много грусти и горечи пережила я во время пребывания в любимой мною деревне. Пожалуй, не очень-то хорошо придумал муж послать меня, именно теперь, в разоренное революцией наше родное гнездо, с которым было связано столько воспоминаний счастливого детства. Меня

тянуло походить по парку, где каждое место, каждое дерево было знакомо. Садилась на скамейку против дома и воображала, что все по-прежнему, что мы живем в этом белом доме с колоннами, с балконами вокруг, с асфальтовым подъездом и цветником.

Но эти фантазии сразу уступали место реальному.

Дом как-то весь почернел, балконы в некоторых местах были сломаны и имели жалкий вид, а любимый моей матерью цветник производил гнетущее впечатление своей запущенностью и отсутствием привычных цветов. Только крапива, да лопухи разрослись повсюду. А меня все-таки тянуло дальше и дальше. Хотелось попасть в дом, в мою комнату. Совхоз занял в то время весь дом. Я рискнула попросить разрешения пройти по дому, сказав, кто я. Сидевшая в конторе девушка обошлась со мной приветливо, и мы вместе осмотрели дом моего детства. В моей комнате, на полу, лежали груды книг. Она предложила мне выбрать то, что я хочу. Взяла несколько своих любимых книжек, прошла еще по другим комнатам, в которых или помещались какие-то склады, или они стояли совсем пустыми. Нашей прежней мебели не было и следа. Девушка объяснила, что все было продано с торгов. Я вспомнила, что одна из учительниц деревни Баево купила на этих торгах (вроде аукциона) мамину сапфировую брошку и привезла ее нам в Лукоянов. Девушка, мой гид по когда-то принадлежавшему нам дому, видимо понимала мое настроение и ничем не нарушала молчания, когда я не задавала вопросов, погруженная в свои невеселые мысли.

Я поблагодарила ее и пошла бродить по парку. Часть имения, принадлежавшая бабушке, произвела особенно безрадостное впечатление. На месте сгоревшего еще в самом начале дома рос сплошной бурьян. Было трудно определить, где именно стоял дом, если бы я точно не помнила. Вскоре я вернулась в деревню и дала себе слово больше в усадьбу не ходить и не бередить старых ран. Воспоминаниям надо положить конец и жить настоящим.

В июле приехал в отпуск муж, а по прошествии двух

недель мы все вместе вернулись в Нижний Новгород, где я собиралась опять с 1-го августа поступить на работу в Ярмарком. Меня приняли, думаю, не заметив моей беременности. Меня это очень устраивало, так как проработав два месяца на ярмарке, я могла рассчитывать получить декретный четырехмесячный отпуск с оплатой содержания. Рождение ребенка предполагалось в ноябре.

Вскоре по приезде домой, мать получила письмо от своего брата из Ленинграда, который настоятельно звал нас переехать к нему, предлагая занять две комнаты в его большой квартире. Его уже давно уплотнили, три комнаты были заняты чужими людьми, и ему приятнее было уступить эти две нам, нежели посторонним. Дочь его вышла недавно замуж и переехала, а сын-артист работал в Москве. Их комнаты подлежали заселению.

10-го октября я ушла в отпуск, а уже 15-го мы подъезжали к Ленинграду. Мне вспомнился наш приезд в Петербург в 1912 году, когда отец был назначен в Государственную Думу и мне так отчаянно не хотелось покидать любимый Нижний Новгород. На этот раз было совсем иначе. В Нижнем мы так и не смогли получить хорошую квартиру и жили по комнатам. За месяц до нашего отъезда, родители мужа предложили освободившиеся у них комнаты дочери, переселившейся на Кавказ. Жить в одной квартире с моей матерью и родителями мужа, я считала совсем неприемлемым. Тем более, что наша семья должна была в скором времени увеличиться еще на одного человека.

Это все вело бы только к разным недоразумениям и неполадкам. Избегая разговоров на эту тему с моей свекровью, которая любила, чтобы все поступали согласно ее желанию, мы упирали, главным образом, на то, что у мужа очень плохая работа (он заведывал канцелярией одного местного учреждения) и, кроме того, он бы хотел поступить в Ленинградский Университет или Техникум, чтобы приобрести хорошую специальность. В Ленинграде для всего этого открывалось гораздо больше возможностей,

чем в Нижнем.

Без особенных неприятностей нам удалось закончить все дела и двинуться в дорогу. По пути остановились с утра до вечера в Москве у брата Георгия, который, потеряв весной бедную Зою, уже успел жениться на Вере – очень самоуверенной, довольно красивой и решительной особе. Она настояла на переезде в Москву, где Георгию посчастливилось найти хорошее место работы. О Зое говорить избегали. Эта натянутость всем была тяжела. Радужного впечатления этот визит не оставил.

На вокзале в Ленинграде встречала тетя Людмила, жена маминого брата. Дядя был не совсем здоров и поэтому не смог приехать.

Нам предоставили две хороших комнаты, и мы довольно уютно разместились в них. Кроме дяди с тетей, в этой квартире жили еще две семьи. Кухня и ванная на 10 человек, а с нами, в скором времени, на все 14. Особенно это нас не удивило, ибо условия в Советском Союзе всюду были одинаковыми: отсутствие жилой площади, скученность в коммунальных квартирах, ведущая неоспоримо к разным распрям и недоразумениям.

Итак, с квартирой устроились более или менее неплохо, а вот со службой оказалось не так просто. Надежды, что в Ленинграде гораздо больше возможностей, чем в Нижнем, исчезли. У мужа не было настоящей специальности. Мы столкнулись с большими трудностями. На Бирже Труда было полно безработных. Дядя посоветовал мужу немедленно поступить на курсы бухгалтеров, вместо университета, о котором он мечтал. Все счетные работники были в большом спросе. Курсы всего шестимесячные. Университет же или техникум – дело затяжного характера.

Я получала очень хороший оклад, находясь в декретном отпуске, и муж мог, не спеша, подыскивать какую-либо работу, в то же время занимаясь на курсах. Большой удачей было, что я служила на ярмарке, так как там зарплата была очень высокой, что давало мне право теперь получать хорошие деньги.

25-го октября вечером мы пошли погулять на Невский проспект, где всегда царило большое оживление. Гуляя, столкнулись с молодой парой, которая с удивлением и радостью приветствовала мужа. Оказалось, что это был его старый знакомый, с которым в Нижнем он вместе работал в первые годы после революции. Пошли расспросы. Узнав, что муж ищет службу, инженер Арановский предложил завтра же приехать к нему на текстильную фабрику, где он является техническим директором и может устроить мужа пока счетоводом, а, когда Сергей закончит курсы, то переведет в бухгалтера.

Полные надежд мы вернулись домой. Спустя два часа меня увезли в больницу, клинику Отто, на Васильевском Острове. Муж, проведя ночь в приемной, в шесть часов утра узнал, что я благополучно родила сына. В счастливейшем настроении заехал домой сообщить эту радостную новость, а оттуда прямым путем отправился на фабрику к Арановскому. Последний не обманул его ожиданий. В то же утро муж был зачислен в штат. В 12 часов, в белом халате, как у нас полагалось, он появился у меня в палате, чтобы повидать сына и сообщить о своем назначении.

Жизнь в Ленинграде в 1925-26 гг. носила вполне мирный характер. Благодаря господству НЭПа не было затруднений с продовольствием, и жители города, после перенесенных мрачных лет военного коммунизма, ожили и им казалось, что наступил земной рай.

Тетя рассказывала о недавних годах, которые они провели в Ленинграде, отправив детей в дальнюю деревню. Тетка с другими "мешочниками" ездила за продуктами в обмен на всевозможные вещи домашнего обихода. Поезда ходили плохо, об отоплении их не было и речи. Народ висел на буферах, лестницах и крышах, как грозди винограда. Многих сбрасывали более сильные, и они летели под откос. Люди зверели от голода и не считались ни с чем. Некоторые, обессилив, сами срывались и их постигала та же участь. С обеих сторон железнодорожной насыпи виднелись никем не погребенные трупы горожан, пускавшиеся

в такие рискованные путешествия, чтобы спасти от голода себя и своих близких. Тетка моя – сильная, энергичная женщина, делала все ради обожаемого мужа, который тогда был настолько слаб и нетрудоспособен, что ни в чем не мог ей помочь. Дети их не принимали в делах родителей никакого участия, ибо вначале, как я уже сказала, жили в деревне, а, вернувшись, занялись своей жизнью. Двоюродная сестра, восемнадцати лет, выскочила замуж против желания матери. Сын же, очень удачно подвизавшийся на сцене, выбрал себе эту карьеру и в скором времени подписал контракт в одну провинциальную труппу и покинул Ленинград. Эти обстоятельства заставили тетю и дядю выписать нас. Дядя, бывший в большой дружбе со своей сестрой (моей матерью), надеялся, по-видимому, что она внесет некоторое равновесие в его семейные отношения с женой. Дело в том, что оправившись от голода последних лет, он ожил, помолодев на десять лет. Ему удалось устроиться на службу в Александрийский театр, где представлялись возможности волочиться за актрисами и всячески развлекаться.

Тетя, страшно ревнивая, страдала от его похождений и тоже рассчитывала на поддержку моей матери для усмирения легкомысленного дядюшки. Все эти события в семье тети и дяди напоминали мне так великолепно описанную Толстым ситуацию в семье Стивы Облонского после содеянных им грешков и приезд Анны Карениной в роли мироносицы.

Уж не знаю, оправдались ли надежды наших родственников на миролюбивую политику матери, но за наше девятимесячное пребывание на Херсонской (улица, где была их квартира) особенных драм не было, если не считать легких стычек, вечно вызываемых ее ревностью. На нашей жизни это не отражалось. Кажется, что тогда главным беспокойством для всех был мой сын, взявший манеру кричать каждую ночь и будить весь дом.

Это последнее обстоятельство заставило меня и мужа искать отдельную квартиру, дабы не испортить совсем

родственных отношений.

Несколько недель мы тщетно искали всюду какого-нибудь пристанища, чтобы как можно скорее выбраться с Херсонской. Найти было почти невозможно, и мы уже теряли надежду, как, совсем неожиданно, через одну комиссионершу я узнала, что на Фурштадтской (теперь Петра Лаврова) "бывшая" домовладелица, под большим секретом, продает за 200 рублей две больших комнаты. Мы с мужем отправились туда, познакомились со старушкой–владелицей квартиры и, хотя подобные продажи были совершенно незаконными, пообещали ей совершить эту сделку. Когда вернулись домой и рассказали матери об этой возможности, то узнали, что дом № 42, в который мы собирались переселиться, принадлежал когда-то родителям моей матери и был ими продан этой старушке, владевшей им до самой революции. Теперь же, лишенная всяких средств, она еще живет в этой квартире, где 30 лет тому назад скончалась моя бабушка (мать матери).

Все это было совершенно невероятным совпадением, и мы, конечно, решили, что сама судьба нас туда направила.

Думаю, что родственников наше решение очень обрадовало. Они охотно помогали нам в переселении.

(С июня 1926-го года мы обосновались в доме № 42 по улице Петра Лаврова, где и прожили до эвакуации из Ленинграда во время второй мировой войны. Моя же двоюродная сестра, переселившаяся к нам во время блокады, живет в этой квартире и по сие время, что мне известно из получаемых мною изредка и очень коротких писем... Подробно писать она, видимо, опасается и никогда не сообщает мне о своих детях и молодых родственниках. Письма ограничиваются упоминаниями о смерти того или другого старого знакомого, описанием болезней тоже разных престарелых людей и... сообщениями о погоде).

В мае муж закончил свои курсы, кстати, блестяще выдержав экзамены, и сразу же получил повышение, т.е. стал бухгалтером на той же текстильной фабрике, под начальством Арановского.

Я устроилась на службу временно заменять уходящих в отпуск машинисток. Учреждение, где я работала, находилось на Невском. Мне было очень приятно ходить туда пешком вдоль Летнего сада, по Марсову полю. Всегда вспоминала, как бывало в детстве гуляла с няней по этим местам. В Ленинграде никогда не бывает очень жарко.Июнь был прекрасным в этом году, и мне эти походы на службу доставляли большое удовольствие. Зато моя мать всегда с нетерпением ожидала моего возвращения, чтобы сбыть мне на руки неспокойного сына. Она с ним за целый день очень уставала.

Прошло лето, наступила осень, и закончилась моя служба.

Осенью никто не стремился в отпуск, так что и заменять мне было некого.

Отправилась на Биржу Труда и стала ее регулярно посещать. Как правило, люди разных профессий собирались на Биржу Труда с утра и сдавали в окошечко служащему, который занимался вызовами на работу, свои документы, по большей части профсоюзные билеты. Затем садились на скамейках в ожидании того, что окошко откроется и вызовут твою фамилию. Это значило, что есть запрос на твою специальность.

Конечно, не я одна была там машинисткой, но вызывали тех, кто дольше состоял на учете Биржи. Первые две недели я ходила безрезультатно, проводя там по несколько часов. Но вот однажды вызвали и меня и предложили работу в Военной Охране Завода "Большевик". Что мне было делать? Если отказаться, то я опять попаду в самый конец длинной очереди, согласиться же, значит ездить каждый день, шесть дней в неделю, на дальнюю окраину Ленинграда. Завод "Большевик", бывший Обуховский, находился уже не в городе, а в настоящей деревне. Трамвай туда от Октябрьского вокзала ходил около часу, а до Октябрьского мне надо было идти пешком 20 минут или ловить трамвай на углу Лиговки, где он замедлял ход, вскакивать на ходу и тогда уже ехать

без пересадки. (На самом Октябрьском вокзале всегда уже ждала толпа рабочих и служащих и трамвай брали с боем).

Надвигалась зима. Служащий Биржи предупредил меня, что работа на заводе начинается в 8 утра и до 5-ти, по субботам до 2-х.

Я просто не знала, что мне делать. Советоваться тоже было не с кем, так как все в очереди только и ждали того, что я откажусь и кто-нибудь захватит требование. Все были изведены бесплодным хождением и ожиданием. Быть безработным было весьма тяжело. Пособие по безработице было настолько мизерно, что жить на это не представлялось возможным. Решаться надо было скорее, и я дала свое согласие.

Приехала домой в полном унынии. Знала, что и мать не обрадуется. Ей придется с утра до ночи возиться с ребенком, готовить и закупать продукты. До позднего вечера все совещались, как лучше поступить, не отказаться ли все-таки завтра? Но страх, что за этот отказ меня снимут с учета Биржи Труда, этот вечный страх, который сопутствовал нам всю жизнь в Советском Союзе, сделал свое дело. Я не отказалась, а поехала на этот завод, на котором проработала четыре года.

Нелегкий это был период моей жизни. Ежедневное вставание в 5 часов утра, когда весь дом еще спит. В половине седьмого надо было выходить. В Ленинграде, в зимние месяцы, по-настоящему светает только после десяти часов. Когда добирались до завода, был еще полный мрак. На доске в проходной вешала номер, и не вздумай опоздать! Ровно в 8 доска запиралась, и тебя направляли к заведующему личным составом, что уже не предвещало ничего хорошего. На мое счастье, за 4 года работы, я ни разу, по собственной вине, не опоздала. Дважды трамваи останавливались за отсутствием тока, тогда не я одна, а целая толпа рабочих и служащих появлялась с часовым опозданием. За это наказания не несли. Но вот подруга моя, работающая в отделе хозяйства завода и любившая

утром поспать, опоздала трижды. Ее не только уволили, а еще ей пришлось отсидеть в тюрьме, как "злостной прогульщице".

Помню, в первые годы моей работы, я вообще потеряла сон. Не могла заснуть с вечера от мысли, что в пять часов я должна встать. Это так меня волновало, что я ничего с собой не могла поделать. В то время в Ленинграде нельзя было купить будильника и, конечно, в аптеках не было сонных пилюль.

В этот же период моей жизни я впервые столкнулась с НКВД, этим наводящим на всех ужас учреждением.

В те времена комендантом завода и начальником военной охраны был некий Поляков — толстый, курносый мужчина, лет 35. По обыкновению он всех разносил, употребляя самые нецензурные выражения. В таких случаях даже проявлял несвойственную ему деликатность и выпроваживал женщин (меня и уборщицу) из помещения охраны в коридор, где мы терпеливо ожидали конца его экзекуций (ибо одним криком он не ограничивался).

Вот из-за этого Полякова, имевшего в жизни две страсти: разносить подчиненных и устраивать оргии с девицами, — меня вызвали в НКВД.

Комендантом он уже был несколько лет, и все сходило ему с рук: и необузданная ругань и еще более необузданное беспутство. Видимо, заслуги его перед партией и правительством (он был из сподвижников знаменитого Чапаева) были велики. Все шло, как по струнке. Военная охрана, находившаяся в его подчинении, перед ним трепетала, девицы же, наполовину из страха, а наполовину из любви к приключениям, тоже не выходили из повиновения.

В конце-концов, все же, кто-то решил осадить зарвавшегося, и на него донесли. Я узнала об этом после того, как сама попала на допрос в НКВД. Вначале же я только заметила перемену как во внешности, так и в поведении нашего буйного коменданта. Он как-то притих, перестал устраивать еженедельные разносы с изгнанием

женщин из помещения, стал ограничиваться незначительными выговорами, да и то больше в письменной форме, чего раньше никогда не делал. Мы с уборщицей, тетей Евой, делились впечатлениями и решили, что Поляков серьезно заболел. Он стал чаще куда-то исчезать, поручая мне, если позвонит директор завода, сказать, что он на правом берегу Невы, где у нас было сосредоточено все хозяйство завода.

И вот, однажды, получаю повестку. Явиться надлежит в такое-то время в Народный Комиссариат Внутренних Дел на Литейный проспект. Нс зная еще причины этого вызова, я несколько взволновалась. Старалась себя успокоить тем, что у нас аресты таким "благородным" путем не происходят. Все мы великолепно знали, что с первых же дней революции арестовывали, ворвавшись ночью в квартиру, стянув, можно сказать, с постели несчастную жертву.

В повестке значилось "конфиденциально", так что ни с сослуживцами, ни с домашними я не поделилась, оставив только перед уходом под подушкой записку мужу. Не вернись я к ночи, он бы нашел и узнал в чем дело.

В назначенный час, с повесткой в руке, я стояла у входа в здание НКВД. Дежурный позвонил кому-то, и через короткий промежуток времени молодой военный пришел за мной. Не разговаривая, повел меня по показавшимся мне бесконечными коридорам. Доведя до какой-то двери, велел сесть на скамеечку и ждать, когда меня вызовут. Вся храбрость моя исчезла, и уверенность, что таким путем не арестовывают, постепенно уступила место чувству страха. Я больше не надеялась вернуться домой.

Чем дольше я сидела, тем больше росло чувство полной беспомощности и ужаса перед всемогущими органами безопасности. Когда меня, наконец, вызвали в кабинет к следователю, думаю, что на мне лица не было, ибо, взглянув пристально на меня, он даже усмехнулся и сказал: "Ну, чего дрожишь, как осина? Аль перепугалась? Садись, рассказывай, только смотри не ври".

С первых же слов я поняла, в чем дело. Об оргиях Полякова стало известно слишком широкому кругу лиц, и начальство перестало покрывать его деятельность. НКВД, по-видимому, повело тщательное расследование. Я была вызвана, как одна из свидетельниц.

Следователь спрашивал, кого я знала из многочисленных любовниц коменданта и не приглашал ли он меня тоже принять участие в его оргиях. Интересовался также вообще характером и различными замашками Полякова. Я старалась отвечать откровенно, и он, видимо, не имея никаких обвинений против меня, скоро меня отпустил. Я вздохнула свободно, выйдя опять в сопровождении молодого энкаведиста в коридор. Яркий свет в лицо в кабинете следователя действовал угнетающе. Когда я была уже около будки охраны, я даже от радости поблагодарила моего молчаливого спутника и бросилась, чуть ли не бегом, домой. Было еще рано, и моя мать удивилась, что меня так удачно отпустили с работы домой. Это было 13-ое февраля – как раз день моего рождения.

Полякова убрали. Я его больше никогда не видела. На его место назначили молодого симпатичного коменданта, тоже члена партии с 1918-го года, Клюшина. Этот вел себя совершенно иначе, чем Поляков. Кончилось дикое оранье на подчиненных, таинственные исчезновения, так сказать, на правый берег Невы, исчезла эта атмосфера напряженности, в которой раньше приходилось работать. Много спустя наша уборщица рассказала мне, что ее вызывали не один раз по делу Полякова. Она, как старшая, более опытная и долго служившая под его начальством знала, конечно, больше, чем я. На допросах она рассказала все совершенно откровенно и не покрыла грязной деятельности коменданта.

В этот период у нас с мужем было уже много знакомых в Ленинграде. Несмотря на трудности жизни, эти знакомые, да и мы любили приглашать друг к другу и веселиться. До моего поступления на завод собирались довольно часто и танцевали. Обычно эти вечера устраивались

накануне дней отдыха. В то время это еще были воскресенья. Но после моего поступления на Завод "Большевик" меня перестали интересовать эти, казавшиеся раньше всегда такими веселыми, собрания. Я до такой степени уставала за неделю бессонных ночей и дальней дороги на завод, что предпочитала по субботам выспаться как следует, ложась в постель с радостным сознанием, что на следующий день можно поспать хотя бы до девяти, десяти часов.

Этот период запомнился мне еще одним мероприятием советской власти — "выколачиванием золота". Стали арестовывать дантистов и бывших торговцев, подозреваемых в обладании крупных золотых запасов. Сажали без разбора на двадцать четыре часа и больше, в зависимости от того, когда признаются и отдадут требуемое. Это были совсем особенные аресты: сажали в невероятно натопленные помещения, в которых было трудно дышать. Очень редкие выдерживали более суток и отдавали абсолютно все, что еще удалось, всеми правдами и неправдами, сохранить.

Некоторых подозревали, что не все отдали, сажали вторично. Сидевшие в этих банях рассказывали, что эту пытку невозможно вынести. В камерах не было ни кроватей, ни стульев. Все должны были стоять. При безумной жаре, обливаясь потом, арестованные стояли, прижавшись друг к другу, не имея возможности пошевелить рукой,— такая была теснота. Обвинений никаких не предъявлялось, кроме одного — обладания золотом, которое полагалось сдавать добровольно государству. Помню, что в этот период, я перестала носить обручальное кольцо, ибо мой начальник, комендант завода, (еще в бытность Полякова) неоднократно намекал мне, что это "буржуазные предрассудки" носить обручальные кольца и что гораздо благороднее было бы с моей стороны сдать его государству, нуждающемуся в золоте для восстановления своего хозяйства, потерпевшего так много от врагов народа — Белой Армии.

Мне пришлось его обмануть, сказав, что я сдала, чтобы только как-нибудь отвязаться. На самом же деле, конечно, запрятала его подальше.

С трудом дождалась двухнедельного отпуска, когда мать, муж, наш маленький сын и я смогли уехать в Нижний Новгород. Там еще жили родители мужа, и мы хотели навестить их и показать нашего наследника.

По пути остановились в Москве, где нам удалось встретиться с двоюродной сестрой Ольгой, на руках которой, в Крыму, скончался брат Павел. Ольга рассказала нам, каким образом они встретились и познакомились.

В то время часть Белой Армии была сосредоточена в Крыму. Там же, в Симферополе, жила Ольга с матерью и сестрой. Жизнь для всего населения была крайне тяжелой. Чтобы просуществовать, моя тетка решила открыть столовую. Дочери ей помогали. Очень скоро все молодые офицеры стали завсегдатаями этого заведения и сообщили брату, что не только там можно хорошо питаться, но и познакомиться с прелестными молодыми девушками.

Павел не замедлил туда пойти и, пока ожидал появления хозяек, стал рассматривать портреты на стенах. К своему чрезвычайному удивлению, увидел портрет своей матери. Выяснилось, что он попал в семью брата мамы. Хорошенькие барышни были его двоюродными сестрами.

Вскоре между Павлом и Ольгой разгорелась такая любовь, что он стал ее женихом и они строили планы счастливого будущего после окончания гражданской войны и победы Белой Армии над большевиками.

Мечтам их не суждено было сбыться. На защите Крымского перешейка Павел был смертельно ранен и умер на ее руках.

Остановились мы опять в Москве у Георгия. Вера была в ожидании ребенка. Георгий, всегда мечтавший о детях, очень за ней ухаживал. Мы провели всего один день в Москве и вернулись в Ленинград. Это был конец июля.

В сентябре получили извещение от Георгия о рождении дочери, Елены.

Вернувшись на работу, узнала неприятную новость – ввели шестидневку. Хотя день отдыха был теперь каждые 5 дней, вместо прежних 6-ти, но зато у нас с мужем перестали совпадать свободные дни. То же происходило и у наших знакомых. Собираться вместе стало еще труднее. Обязательно кому-нибудь на другой день приходилось работать. Наши встречи свелись на государственные дни отдыха: первое мая, 7-ое ноября, Новый Год. О Рождестве никто уже не говорил и если устраивали елку для детей, то старательно запрятывали ее, чтобы ни соседи, ни управдом не заметили бы. Боялись доносов, что празднуем церковные праздники. Помню один год, я где-то все-таки добыла елку и поставила ее в нашей спальне, за постелями. В тот же день управдому (у нас была женщина, заведующая домом) понадобилось позвонить по телефону. Аппаратов в доме почти не было. Муж же, как казначей ЖАКТ'а (Жилищное Акционерное Кооперативное Товарищество) имел право на телефон, и, конечно, управдом мог пользоваться тоже. Пришлось срочно уложить маму в постель, объявив, что она больна, и провести управдома другой дверью, подальше от спрятанной елки, которая, как на грех, упоительно пахла хвоей. На какие только фокусы не приходилось идти, чтобы иметь возможность жить и не быть преследуемыми!

В 1930 году нашу семью постигло несчастье – скончалась трехлетняя дочка Георгия и Веры. Вера писала, что Георгий в полном отчаянии, потеряв единственного, любимого ребенка. Мы увиделись только в 1933 году, когда они посетили нас в Ленинграде с маленьким сыном. Георгий к этому времени страшно изменился, нашли мы его постаревшим и бесконечно грустным. Еще в 1932 году они покинули Москву и жили теперь в Омске.

Первого декабря 1934 года был убит Киров. В это время я не работала на Большевике, а удачно устроилась в Гипроцветмете (Государственный институт по проектированию заводов цветных металлов). Это учреждение было только что организовано и помещалось в боковой

части музея Александра Третьего, с выходом на канал Грибоедова, почти рядом с церковью "На Крови".

В этот памятный день в нашем учреждении был большой митинг, на котором, конечно, все должны были присутствовать. Говорили об измене, о подлых провокаторах, о контрреволюционерах, которые продолжали везде, где только могут, пролезать и бороться с Советской властью. Настроение у всех было крайне подавленное, ожидали всевозможных репрессий. Вряд ли все останется без значительных перемен.

Предчувствие беды не обмануло.

Через несколько дней после убийства Партийный Комитет объявил у нас чистку.

Эта "чистка" заключалась в том, что на общем собрании всех служащих и рабочих тот или иной сотрудник, подлежащий в этот день проверке, должен был рассказать всю свою подноготную, не только о себе, но и о родителях, дедушках и бабушках. Конечно, каждый старался представить себя истинным пролетарием, не имевшим никогда никакой собственности, учившимся на "медные гроши" отца рабочего или матери уборщицы. Иногда все сходило благополучно. Порой же, как это было на одном из наших собраний, одному молодому человеку, рассказавшему о своем нищенском детстве, кто-то (кто, по-видимому, был из той же деревни) задал вопрос о будто бы принадлежавшем его семье кирпичном двухэтажном доме, лучшем в этой деревне, (каменные дома были редкостью в наших деревнях и, по обыкновению, принадлежали так называемым "кулакам" — зажиточным крестьянам).

Молодой человек страшно растерялся, ибо он только что назвал свой дом — избой, крытой соломой. Ему не дали выпутаться из неприятной ситуации и на другой же день уволили за ложь, допущенную на коммунистическом собрании. Кстати, он сам был в партии, но после этого случая недолго в ней оставался.

Спустя несколько лет я его встретила на улице, но почти не узнала. Боялась даже расспрашивать, что с ним случилось после этого злосчастного собрания.

Кроме учреждений начались чистки в учебных заведениях. Знакомые студенты рассказывали, что все происходило в том же порядке, даже более торжественно, чем у нас в Гипроцветмете. Например, подруга, учившаяся в Первом Педагогическом институте иностранных языков, рассказывала, что у них устроили нечто вроде трибуны, на которую вставал тот, кому чинился допрос. Таким образом он стоял перед всем залом и должен был отчитываться за всю свою жизнь. Опять-таки, если что-либо не совпадало с полученными ранее сведениями или показаниями свидетелей, то его или ее "вычищали" из профсоюза и университета.

Совершенно не знаю, что именно спасло меня, но на "чистку" я так и не была вызвана. Может быть потому, что была "маленькая сошка" и никто на меня не доносил.

Кроме чисток в этот страшный декабрь начались почти поголовные аресты. Всех хватали, кто был почему-либо подозрителен НКВД.

Один из первых был арестован наш сосед по квартире — молодой человек, лет 27, служивший в одном из многочисленных, вновь открытых учреждений, прилежно работавший с утра до 5, а по возвращении готовивший матери (нетрудоспособной) и себе обед. Все вечера он проводил дома. Знали все его, как тихого, скромного юношу, бесконечно преданного инвалидке-матери.

Когда однажды, в два часа ночи раздался резкий, продолжительный звонок в нашей квартире, все проснулись с одним чувством и с одним вопросом на устах: "За кем пришли?" Уже до этого дня слышали о нескольких арестах среди знакомых. Боясь, что, может быть, за мужем, я решила сама пойти открыть дверь. Вошли двое энкаведистов и, смущенный и перепуганный, старый дворник. Последний показал им сразу же на дверь, ведущую в комнаты соседа Павлова. От моего сердца отлегло. На этот раз не к нам! И жаль милых соседей, но все же "своя рубашка ближе к телу", говорит русская пословица.

Обыск продолжался до утра. Конечно, никто в квар-

тире не ложился спать. Ждали, чем все кончится. Утром один из обыскивавших пришел к нам и попросил разрешения воспользоваться нашим телефоном. После этого разговора Павлова увезли.

Телефон, как я уже упоминала, висел в нашей комнате. За несколько дней до этого обыска и ареста Павлова, перепуганная начавшимися репрессиями, я решила купить большой портрет Молотова (тогда министра иностранных дел) и повесила на той же стене, где был телефон, среди семейных фотографий. Даже рамку купила такую же: синюю, бархатную. Муж, вернувшись с работы и увидев портрет своего однофамильца (Молотов, как известно — Скрябин), спросил меня, что это должно значить, почему я повесила этот портрет в кругу семейных фотографий. У нас вообще портреты вождей не водились, и это неожиданное явление поразило мужа. Я сказала, что, по-моему, это может быть известной защитой. Муж отнесся весьма критически к моему поступку, но спорить не стал.

Вскоре он пришел к заключению, что, возможно, я и была права. Всем, кто пользовался нашим телефоном, этот портрет не мог не бросаться в глаза. Спрашивать, не спрашивали, а все-таки сомнение, по-видимому, закрадывалось. Так как в большинстве случаев приходила женщина-управдом, которая, конечно, должна была докладывать куда следует о всех жильцах дома, думаю, что она не преминула упомянуть о портрете Молотова в окружении членов нашей семьи! Во всяком случае аресты продолжались, целые поезда с заключенными отходили каждый день от Ленинграда по направлению востока, а мужа не трогали. Он часто говорил мне: "Знаешь, делается просто неловко встречаться со знакомыми женщинами, мужей которых арестовали и сослали. Что они могут подумать обо мне?" Ему казалось, что он остался один и его заподозрят в том, что он состоит на службе НКВД и является осведомителем.

Отправили в Казахстан Павлова. Как ни странно, его предварительно выпустили на несколько дней с обяза-

тельством явиться в определенный день вместе с матерью. Подобный случай был необычен. Мы ломали голову над этой странной высылкой и, наконец, пришли к заключению, что при всем желании следователи не могли ему ничего приписать, а все-таки сочли лучшим от подобных элементов (он был из дворян, чего уже было достаточно) освободиться.

Больше мы никогда ни его, ни старушки матери не видели. Она-то уже наверное не пережила условий ссылки.

Всю весну 1935-го года мы жили под непрерывным страхом. Был арестован лучший друг мужа, недавно только награжденный одной из высших наград за строительство военных сооружений вблизи Кронштадта. Он был инженер и никаких "грехов" за собою не знал, кроме разве одного – совершенно неприемлемой для Советского Союза фамилии – Геринг! Сослали его, а вскоре и жену – красивую, молодую женщину, занимавшуюся исключительно флиртами и романами, а отнюдь не политикой.

В нашу квартиру, в половину, занимаемую раньше Павловыми, вселили семью коммуниста, ответственного политического работника, с женой и матерью. Теперь в квартире надо было очень остерегаться и не говорить ничего лишнего. При том, что кухня была общая на все четыре семьи, живущие в квартире, это было не очень легко. Я особенно боялась за мать, которая никак не могла смириться с разными постановлениями Советского государства и часто выражала вслух свое неудовольствие. Я умоляла ее молчать, если она не хочет погубить нас. Она обещала, но все-таки неприятная история разразилась. Мама считала, что всюду в квартире должны висеть иконы и, не удовлетворившись тем, что устроила в своей комнате целый иконостас, она повесила тоже и в углу кухни. Новый жилец моментально заметил эти "антикоммунистические" мероприятия и вызвал мужа. До меня доносился резкий возмущенный голос Семенова, который требовал, чтобы муж немедленно снял эти "картинки" (как он выразился) и, если теще (т.е. моей матери) угод-

но, то она может наши комнаты завесить ими, но пусть не старается портить комнат общего пользования, т.е. кухню, ванную и коридор.

Мужу все это было крайне неприятно и, по окончании объяснения с Семеновым, он вошел к матери и сделал ей серьезное внушение.

Между прочим, у них с матерью были всегда самые идеальные отношения, так что я в первый раз услышала по ее адресу такой недовольный тон. Даже не извинившись за свою грубость, муж ушел.

Теперь в моей комнате, которая прилегала к комнате соседей, мы боялись громко разговаривать, считая, что нас могут подслушать. Однажды, придя с работы, я застала у нас жену брата мужа. Первым браком она была за известным московским богачом — Рябушинским и сохранила с тех пор брильянты еще никогда не виданной мною величины. Она их тщательно запрятывала и только раз показала нам, чтобы похвастаться, какие она раньше получала подарки. Теперь, когда волна арестов все еще не затихала, ей пришло в голову, что самое лучшее дать эти вещи на хранение моей матери, к которой она относилась с полным доверием и уважением. Кроме этих огромных, величиной с птичье яйцо, брильянтов, она принесла еще несколько замечательных драгоценностей. Мать моя ужаснулась при виде этих богатств и умоляла ее взять все обратно. Почему-то Любовь (имя моей невестки) особенно боялась предстоящей ночи и все-таки, несмотря на протесты матери, настояла на своем, оставив все вещи у нас.

Как ни странно, но ее предчувствие оправдалось — в эту ночь был арестован ее муж.

Дня через два она опять появилась у нас и забрала все, что ей принадлежало. Мне пришлось настоятельно просить ее об этом, ибо мать от волнения перестала ложиться спать и носилась все время с принесенными вещами, ища для них более надежное место. Я просто боялась за ее здоровье и категорически потребовала, чтобы Любовь

нашла бы других, которые согласились бы хранить ее сокровища.

Что она в то время сделала со своими брильянтами, так узнать не пришлось. Впоследствии моя племянница, жившая в то время у нее, рассказывала, что Любовь вшила их в свое меховое пальто, сделав нечто на подобие пуговиц. Спустя месяц после ареста мужа и она была арестована. Мы ее больше так и не видели. Забрали ее в этом самом меховом пальто, содержащем в себе такие небывалые ценности. Может быть никому, никогда так и не пришло в голову срезать и распороть эти пуговицы.

Громаднейший капитал пропал где-то в лагерях Сибири.

К лету 1935-го года, после тысячей арестов и ссылок, как-то словно все успокоилось. Больше не уходили запломбированные поезда, не метались по улицам "черные вороны", как население называло автомобили, забиравшие арестованных. Казалось мне, что и состав населения Ленинграда изменился. Особенно чувствовалось это в Филармонии, где обычно давались концерты наших знаменитостей того времени, вроде певцов Печковского и Сливинского, а также пианистов Оборина и Софроницкого. Мы всегда посещали эти концерты, получая бесплатные билеты с фабрики мужа. Рабочие мало интересовались подобными развлечениями и предпочитали ходить в оперетку или в Александрийский театр, где шли современные пьесы.

Как-то, этой же весной, к нам заехала дочь композитора Скрябина, Елена. Она предложила вместе снять на лето дачу. Мы все очень любили эту милую молодую женщину и охотно согласились. Поехали осматривать дачи поблизости от Луги. Попался симпатичный домик в два этажа на станции "Разлив", который мы и не замедлили снять. Внизу поселились мы: мать, я, мой десятилетний сын Дима и муж, проводивший только конец недели. Верх заняли супруги Софроницкие (Елена была замужем за пианистом Софроницким, кстати лучшим исполнителем произведений Скрябина) с сыном Сашей.

Это лето оставило самое приятное воспоминание. После всего пережитого прошлой зимой все стремились отдохнуть в простой деревне, вдали от города и постараться забыть весь этот кошмар обысков и арестов.

Помню, что очаровательный Софроницкий привлек в Разлив всех поклонниц своего таланта. Как-то стало известно, где он проводит лето, и каждый день стали появляться все новые и новые особы женского пола в поисках дач. Наверное, такому наплыву "дачной клиентуры" радовались местные хозяйки, но на жену Софроницкого это производило весьма неприятное впечатление. Никуда нельзя было с ним показаться, так как тотчас же встречались какие-то женские фигуры, от юных девиц до безобразных старух, которые стремились, если не завести разговор, то хоть поздороваться. Самому Софроницкому, по-моему, такое поклонение очень нравилось и он ничего не имел против прогуливаться по деревне, любезно отвечая на приветствия этих женщин.

Как все нервные люди, он боялся грозы. Грозы же в это лето были очень частым явлением. Тогда он забирался в угол, между стеной и шкафом для посуды. Сидел там до тех пор, пока гроза не проходила. Если же непогода была затяжной и раскаты грома не прекращались, мы варили для него какао, которое он очень любил, и приносили ему в его угол.

Вообще же он был премилым и интереснейшим человеком. Рассказывал о своей музыкальной карьере, о поездках за границу, где он особенно много играл Скрябина, не пользовавшегося в то время большим успехом в Советском Союзе. Жена его говорила, что и за границей с ним происходили всевозможные инциденты. Часто перед самым концертом он вдруг отказывался выступать, ложился в постель и объявлял себя больным. По-видимому, жене, которая его сопровождала в его заграничных поездках, бывало с ним нелегко. Все же они составляли очаровательную пару, и мы все были очень огорчены, когда, изведенная наплывом поклонниц, Елена решила покинуть дачу

и, забрав сына, в один печальный для нас день уехала.

Софроницкий был тоже весьма огорчен таким решением жены, но все же остался в одиночестве наверху нашей дачи. Вот только, когда разражалась ночью июльская гроза, он требовал, чтобы кто-либо из нас перебирался наверх и караулил его сон.

Пришлось установить дежурства, и даже сам хозяин дома согласился помогать нам в этом деле. Он преклонялся перед такой знаменитостью, поселившейся у него. Кажется, все село только и говорило о его постояльце, и это хозяину очень импонировало.

Все же долго в одиночестве Софроницкий не выдержал, несмотря на все наши старания ублаготворить его. Уже в начале августа он уехал в город.

Мы оставались на даче до начала занятий сына, т.е. до 1-го сентября. Когда мы вернулись в Ленинград, я знала, что ожидаю ребенка.

Стояла прекрасная осень. Особенно красиво было в парках Павловска и Пушкина. Я ушла с работы из Гипроцветмета по собственному желанию, так как это учреждение перевели на Васильевский остров. Езда на службу стала занимать не меньше времени, чем бывало на завод "Большевик". Я поступила в одну мастерскую, дававшую заказы на дом. Стала вышивать украинские блузки, носовые платки, скатерти и прочие вещи, которые продавались во вновь открывшемся кустарном магазине на Невском проспекте. Это занятие мне очень нравилось, тем более, что я могла больше времени проводить дома и помогать матери.

Как будто все шло довольно хорошо и жизнь была более или менее спокойной, как вдруг, словно гром в ясном небе, получаем письмо от жены Георгия, что он арестован. В Омск, как я упоминала, они переехали в 1932-ом году. Георгий получил очень хорошую службу юриста в одном из строительных учреждений Омска. Совсем еще недавно он писал, что вскоре с женой и сыном приедут провести у нас отпуск. И вдруг такая неожиданность.

Конечно, все разволновались, особенно мать. Что можно предпринять в таком случае? Всем нам было хорошо известно, особенно пережившим прошлую зиму, что никакие хлопоты ни к чему не приведут. Все подобные процессы стали проходить за закрытыми дверьми специальными "тройками", которые немилосердно всех осуждали на ссылку и расстрел.

Начались опять дни тревог, сопровождаемые чувством полной беспомощности, что особенно всегда угнетало.

Вера писала часто, но письма ее успокоения не приносили. Ей так же, как и нам, было совершенно неизвестно, в чем могли обвинить Георгия.

Она обегала все возможные инстанции и в результате потеряла всякую надежду спасти мужа. Мы послали коекакие, оставшиеся еще золотые вещи с просьбой обменять их в Торгсине и хотя бы снабдить Георгия, если будут принимать, съестными припасами. Знали, как отвратительно кормят в тюрьмах и, конечно, боялись за его здоровье.

Так прошло несколько месяцев, в течение которых, в связи с процессом Зиновьева, Каменева и других, все трепетали за свою жизнь и жизнь близких.

Весной Вера сообщила, что Георгий расстрелян.

В начале апреля прискорбное известие о гибели брата, а 13-го мая рождение моего сына, названного в честь погибшего тоже Георгием. Радость и горе одновременно заняли место в нашей семье. Мать моя была настолько безутешна, узнав о расстреле брата, что мы не на шутку испугались за нее. Итак уже достаточно испытаний пало на ее долю за последние двадцать лет. Только появление в доме маленького существа, настоятельно требовавшего к себе ее внимания, до известной степени, рассеяло ее горе и наполнило жизнь новыми заботами и интересами.

Малыш был прелестным мальчиком, здоровым и спокойным.

В июне мы переехали в Пушкин, где около парка сняли квартиру на лето. Мы все любили этот милый городок с

его замечательными дворцами, парками, озерами. А к тому же он был проникнут поэзией прошлого.

Когда я бродила по аллеям парка или подходила к зданию лицея, мне всегда казалось, что вот сейчас увижу тень любимого поэта, проведшего здесь свою юность.

В Пушкине, в заботах о новом члене семьи, который приносил нам немало радости, в картинах того прошлого, которое всем, особенно моей матери, было так дорого, мы отдыхали от напряженности ленинградской жизни. Здесь мы были одни в квартире, там же боялись сказать лишнее слово, старались ничем не задеть авторитетную женщину – мать Семенова, которая стала господствовать над всеми в нашей коммунальной квартире. Кстати, надо сказать правду, что она довольно дружелюбно относилась к нам, особенно после появления на свет маленького Георгия. Когда мы крестили его на дому (в церкви даже священник не рекомендовал этого делать), то эта Степанида Ивановна не только не рассказала о происшедшем сыну, а, наоборот, единственная в квартире всеми мерами помогала нам. Оказалось, что она была верующей и тщательно скрывала это от сына и невестки. Ей доставило большое удовольствие присутствовать на крестинах и все устраивать. Даже купель она где-то достала. Во время богослужения истово крестилась и помогала неопытной крестной матери поддерживать мальчика. Мама все это наблюдала. Мы с мужем, по нашим правилам православной церкви, не имели права присутствовать при таинстве крещения.

Летом в парках Пушкина шла съемка для будущего фильма из жизни поэта. Режиссер, заметив как-то Диму, обратил на него внимание и предложил сниматься для необходимой ему группы лицеистов. Дима прибежал домой в неописуемом восторге. То, что он будет одним из толпы, его мало трогало. Главное, что он будет фигурировать в фильме о Пушкине. На другой день последовало разочарование, режиссер нашел мальчика старше и более подходящего. Дима был страшно огорчен.

Прошли июль и август, и опять 1-го сентября мы водворились в нашу городскую квартиру. Муж, перенесший летом тяжелую ангину, отразившуюся на деятельности сердца (стал тоже развиваться сильный ревматизм) получил путевку в санаторий на Кавказ. Я опять приступила к прерванной на лето работе в мастерской.

Осень и зима не принесли ничего нового. Казалось, что волна арестов несколько затихла. Увы! Это было не так. Опять пришлось пережить неприятные минуты.

Как-то в середине марта, пришла к нам взволнованная Арановская и сообщила, что ночью был арестован ее муж, квартира опечатана, а ей с двумя сыновьями — мальчиками 17 и 7 лет, разрешили жить в передней и кухне. О таком странном аресте слышать еще не приходилось. Обычно все же семья или арестовывалась тоже или их оставляли жить в прежней квартире. Переселение же в темную переднюю казалось весьма необычным.

Конечно, единственно, что в таком случае мы могли сделать, это выразить ей сочувствие и постараться подать надежду, что скоро все выяснится и Ивана Петровича наверняка выпустят (сами абсолютно не верили этим утешениям). Арановский, как я уже говорила раньше, был директором текстильной фабрики, инженер по образованию. В чем было дело? Ни о каком "вредительстве" на фабрике не было и речи. Никто ничего не знал, и трудно было делать предположения. Муж, его ставленник, конечно, тоже не был спокоен за себя и очень жалел прекрасного человека и его беспомощную семью.

Арест Арановского вызвал опять большие волнения среди знакомых, избежавших пока что преследований со стороны властей. К нам приехал прямой начальник мужа, главный бухгалтер фабрики, Левицкий. Близкий друг Арановского, о чем вся фабрика великолепно знала, он теперь не имел покоя ни днем, ни ночью. Его уже вызывали в специальную часть и расспрашивали о прошлом не только самого Арановского, но и о всех его родственниках. Левицкий об этих людях, живущих в провинции, не

имел ни малейшего представления и отвечал настолько сумбурно, что вызвал еще большие подозрения начальника спецчасти. Теперь он приезжал к нам советоваться, как исправить положение. Жена его, подруга по гимназии жены Арановского, навещала и поддерживала ее, как только могла. Так как, по-видимому, за квартирой следили, то Левицкие ждали со дня на день ареста. Порвать же все сношения с Арановскими ему и его жене мешала глубокая порядочность и честность. Старшего мальчика выбросили из Техникума, не дав никаких объяснений. Он попробовал устроиться на какую-либо работу, но всюду получал отказ, когда дело доходило до анкеты, в которой он был обязан указать про отца. Мальчик был в таком отчаянии, что не вставал с постели и не выходил из дому. Мать боялась, что он способен покончить с собой.

Между тем в правительственных кругах произошли перемены. Сместили Ягоду, долголетнего начальника НКВД, на его место был назначен Ежов.

ЕЖОВЩИНА

От одной знакомой, родители которой были домовладельцами в старом Петербурге, узнали, что одно время у них работал дворником отец Ежова. Сын, мальчишка-подросток в то время, отличался отвратительным характером, наводящим ужас на детей этого дома. Любимым занятием его было истязать животных и гоняться за малолетними детишками, чтобы причинить им какой-либо вред. Дети, и маленькие, и постарше, бросались врассыпную при его появлении. Та же знакомая уверяла меня, что он даже был подвергнут психиатрическому лечению.

Вот кто у нас теперь "вершитель всех судеб", пользующийся неограниченным доверием Сталина. Что-то будет теперь с "враждебными советской власти элементами", случайно уцелевшими в Ленинграде?

Это время, с осени 1937-го года, вошло в историю под названием "Ежовщина".

Я пришла к заключению, что мне необходимо получить какую-либо специальность, которая, в случае чего, поможет содержать семью. Пошла в Институт Иностранных языков и подала заявление о принятии меня в число студентов.

По проверке всех моих симбирских документов (один год я там проучилась в Практическом Институте Народного Образования), я была зачислена на первый курс без экзамена. Это для меня играло очень большую роль, ибо после такого промежутка мне было бы не под силу подготовиться к экзаменам по всем предметам, включая математику, физику и так далее.

С сентября я уже начала посещать Институт. Занятия происходили в вечернюю смену, днем же я продолжала работать в мастерской.

Подошел ноябрь, все ждали праздников. Жена Арановс-

кого, не растерявшись от всех посыпавшихся на ее голову испытаний, поступила на курсы парикмахеров и, благополучно окончив их, получила место.

Сына ее, Юрия, в конце концов взяли чернорабочим. Оставался один Леня, ходивший в школу. Они продолжали жить в передней и кухне. Комнаты стояли опечатанными. Почему им не разрешалось ими пользоваться – понять было невозможно. Ведь никто вселен не был. Но о таких вещах спрашивать было не у кого – все равно ответа не получишь. Так и оставалось одной из загадок советской власти...

Передачи мужу у нее принимали, значит пока что его не выслали и не расстреляли.

(Перед самым началом второй мировой войны Арановского выпустили и на несколько дней он приехал в Ленинград повидаться с семьей и попробовать устроиться на работу. На работу его никуда не приняли, так как он получил "минус пять", т.е. не имел права жить в пяти больших городах Советского Союза, как Ленинград, Москва, Киев, Харьков и Одесса. Он принужден был уехать в маленький провинциальный городок, где у него были знакомые.

Арановского было трудно узнать. Раньше всегда энергичный, бодрый и веселый, способный инженер, не боявшийся мероприятий Советской власти, пролетарского происхождения, что давало ему тоже некоторое преимущество перед "классовыми врагами", он был доволен своим положением и никогда, нигде не критиковал советский режим. Вернувшись из ссылки, был жалким, на смерть перепуганным человеком, боявшимся произнести лишнее слово и все время с опаской оглядывающимся по сторонам. Разговаривать с ним было просто мучительно, даже близкие не знали, как к нему подойти. Физически – этот здоровый сорокапятилетний мужчина выглядел седым, сгорбленным стариком.

Трудно себе представить, что арест и ссылка могла сделать с человеком!).

7-го ноября, в самый большой советский праздник, я пошла навестить очень близкую мне семью – мать и сына, с которыми была уже несколько лет хорошо знакома. Мать открыла мне дверь. Сразу бросилось в глаза, что она была сама не своя. Шепотом, с перекошенным от страха лицом, сообщила, что ночью увели сына. Зная уже обо всем, что творилось вокруг, она никакой надежды на его спасение не питала. Тем более, что муж ее и старший сын давно эмигрировали во Францию, и это, несомненно, было известно Комиссариату Внутренних дел. Особенно теперь, когда во главе стоял такой страшный тип, как Ежов. Успокоить ее я ничем не могла. Мы с ней убрали книги и вещи, разбросанные по всему полу производящими обыск агентами НКВД. Как мне сказала мать арестованного, они ничего предосудительного не нашли и ничего не забрали, сына же все-таки увели. Обыски теперь – это простая проформа. (Этот молодой человек – Бек-Суфиев, никогда больше домой не вернулся. Много лет спустя от его брата, встреченного мною в Париже, узнала, что арестованный во время Ежовщины его младший брат попал в самые страшные лагеря, на Колыму, и там умер от воспаления мозга).

В нашей квартире были новые жильцы. Степанида Ивановна с сыном и невесткой получили новую, гораздо более поместительную квартиру. Опять перемена. Боялись, конечно, худшего. Квартира Павловых была на учете Партийного Комитета, и никого другого, как партийного работника, ожидать было нельзя. Действительно, въехала семья из пяти человек: муж, жена, двое детей и мать жены. Муж – коммунист, занимал довольно видный пост. Жена училась в университете, дети были на руках матери – маленькой, болезненной старушки, являющейся противоположностью воинственной Степаниды, к которой, после крестин нашего Георгия, мы даже чувствовали расположение.

С новыми жильцами еще не знали, как себя вести. Я опять умоляла мать быть осторожнее и не вступать ни в

какие разговоры. Молодых родителей никогда не было дома, старушка была занята по горло хозяйством и детьми. Самое большое несчастье представляла собой дочь – девчонка лет 7, которая влезала непрошенная в чужие комнаты и, что хуже всего, воровала. Жаловаться на нее боялись, а, вместе с тем, каждый день у того или другого из жильцов что-либо пропадало. Особенно страдала старушка-эстонка, так как ее комната, отделенная простой ширмой от помещения новых жильцов, была излюбленной "ареной деятельности" маленькой воровки. Старушка потихоньку жаловалась только нам, но никто никаких мер не принимал.

Прошел еще год. Моим большим утешением были занятия в Институте, которые шли очень удачно. Мне дали приличную стипендию, как "отличнице", и я могла бросить работу и отдаться вполне учебе.

Мужа на текстильной фабрике "вычистили", как человека непролетарского происхождения. На его счастье за него вступилась женщина – директор всего Текстильного Комбината, Колонтырская, очень влиятельный, долголетний член партии. Она-то и настояла на его переводе в Комбинат. Таким образом муж только выиграл. Колонтырской же бояться было нечего. Ее положение, по-видимому, было весьма прочным.

Спустя месяц после перехода мужа в Главное Управление, Колонтырская пригласила нас к ней в ложу Мариинского театра. Во время антракта муж ушел курить, а мы прогуливались по фойе, когда к нам подошел какой-то мужчина довольно неопределенного возраста и, на мой взгляд, неинтересной наружности.

Она нас познакомила. Фамилия этого человека – Косыгин, ничего мне не говорила, а внешность просто не понравилась. Поэтому я не принимала никакого участия в их разговорах и просто скучала.

Антракт, как нарочно, тянулся без конца, и я искала глазами мужа, чтобы как-нибудь избавиться от глупого положения, в которое попала.

К сожалению муж был в курилке, этажом ниже и, видимо, не торопился присоединиться к нам. Когда, наконец, антракт кончился, муж подошел к нам, любезно поздоровавшись с Косыгиным, спросил меня шепотом, знаю ли я, с кем меня познакомили. На его вопрос, изведенная длительным скучнейшим антрактом в обществе незнакомого человека, я недовольно пробормотала: "Какой-то абсолютно непривлекательный субъект, мне совсем не понравился, я только не знала, как бы мне улизнуть, а ты еще пропал со своим куреньем".

Колонтырская все еще продолжала, видимо, интересный для нее разговор с нашим спутником и не обращала на нас с мужем внимания. "Будь осторожна в твоих суждениях, — остановил меня муж, — ты себе и представить не можешь, какую молниеносную карьеру делает этот человек и кем он еще может быть". Работая давно в текстильной промышленности, муж хорошо знал Косыгина и, считая его крайне способным и умным, следил за его успехами и быстро растущей популярностью. Он уже тогда был уверен, что в ближайшее время Косыгин будет играть одну из первых ролей в советском правительстве.

На меня слова мужа никакого впечатления не произвели. Политикой я не очень-то интересовалась и кем суждено быть этому Косыгину — мне было абсолютно все равно.

Время ежовщины было, пожалуй, самым жутким периодом послереволюционных лет. Каждый день узнавали о каком-нибудь новом акте Ежовского террора. Боялись абсолютно всех и вся, в каждом человеке подозревали шпиона НКВД.

В день моего рождения, как это всегда у нас было заведено, решила все же устроить вечеринку и пригласить своих близких друзей и знакомых. Среди приглашенных была и приятельница детства — Марина Толбузина. Так как всегда женщин бывало больше, чем мужчин (громадное большинство мужчин нашего круга находились или по тюрьмам или в ссылке), то я спросила Марину, не

знает ли она кого-нибудь симпатичного и интересного, чтобы нашим женщинам не было скучно на вечере. Она посоветовала одного ее знакомого. Список гостей был составлен и, по просьбе дяди, я отнесла ему на одобрение. Прочитав внимательно до конца, он заметил: "А вот этих двух ты напрасно приглашаешь", как раз один из них, Тучков, был тот молодой человек, которого посоветовала Марина, другой же, очень веселый и милый, с которым нам приходилось встречаться в разных домах. На мой удивленный вопрос дядя ответил: "Из-за Тучкова пострадали все еще оставшиеся лицеисты, а другой донес на нескольких знакомых, что всем известно!"

Считая, что дядюшка стал настоящим паникером, я не изменила своего списка.

Вечер прошел. Никто не скучал. Конечно подвыпили, языки развязались, сыпались анекдоты, которые в другое время не рассказывали бы. Все казались такими милыми и веселыми, что и в голову не могло прийти, что кто-нибудь среди нас может быть доносчиком.

Вскоре после этого вечера был арестован молодой инженер Станкевич, бывший, кстати сказать, весьма "левого" направления и пользовавшийся доверием и расположением своего начальства. За ним последовал арест хорошего приятеля мужа, который еще каким-то путем оставался на воле. Когда я рассказала все это дяде, он внушительно ответил: "Я же тебе говорил, а ты не слушала".

Жить становилось все страшнее и страшнее.

Как всегда, мы провели лето на пригородной даче, а в сентябре вернулись в Ленинград.

Однажды ночью, как несколько лет назад, когда навсегда из нашего поля зрения исчез милый, скромный Павлов, раздался опять пронзительный звонок. Я уже больше не сомневалась в том, что пришел черед моего мужа, несмотря на все ухищрения, правдами и неправдами, спасти его. Кто на этот раз открыл дверь – не помню. Слишком взволнованная неминуемым арестом мужа, я осталась в нашей комнате и напряженно прислушивалась

к шагам по коридору. Муж, бледный, как полотно, стоял около меня, волнуясь не меньше. Мать и дети, к счастью не просыпались.

Тяжелые шаги нескольких человек прошли мимо. Не понимая в чем дело, я выглянула в коридор. Не веря своим ушам и глазам, я убедилась, что обыск идет в комнатах коммуниста и крупного партийного работника – Куракина.

Обыск продолжался до утра. Опять, как в случае с Павловым, попросили разрешения позвонить от нас по телефону и вызвали необходимый транспорт. Увели арестованного, а жена его Любовь с рыданиями ворвалась к нам, изливая свое горе и возмущение. Раньше она нас чуждалась, чувствуя свое превосходство, но теперь положение изменилось и преимущество было на нашей стороне. Ее муж, ответственный партийный работник, был арестован наравне со всеми "врагами народа", а мой муж – беспартийный, да к тому же непролетарского происхождения, оставался на свободе. По-видимому, у нее появилось подозрение о "таинственных" связях с Москвой и нашим, теперь казалось неоспоримым, родством с Молотовым.

Примириться с таким, казавшимся ей несправедливым, арестом мужа Любовь никак не могла. Она бросила университет, с утра до ночи бегала по разным инстанциям, стучась во все двери, стараясь добиться, на каком основании арестован ее муж, член партии с первых революционных лет, занимавший все время ответственные посты. Но, как и всем другим, ответа не давали. Несколько раз от нас она звонила даже в Москву, надеясь все-таки добиться правды. Раньше, когда ей приходилось слышать об аресте того или иного человека, обычно она авторитетно заявляла: "Ошибок быть не может, наверняка замешан в чем-нибудь". Теперь же, когда наши две старушки – бывшая домовладелица и эстонка Каролина, терпевшие столько времени как ее самоуверенность, так и воровство ее дочери, напоминали ей эти слова, она отвечала: "Век живи, век учись" или "От сумы и от тюрьмы не отрекайся",

уж вот эта вторая пословица действительно хорошо применима к нашему Советскому государству. Кто мог быть уверен, что он будет исключением? Для Любови это разочарование в обожаемом ею советском режиме, было особенно тяжело.

Как-то я подымалась по лестнице в нашем Институте и была поражена пустым пространством на том месте, где висел огромный портрет Ежова. По Институту распространился слух, что Ежов снят с работы, и его заменил Берия, близкий друг Сталина. Надежды на то, что будет лучше – было мало. Одно утешение только, что не сумасшедший будет руководить НКВД.

Наступил новый 1939-й год. Если у кого и теплились еще надежды на освобождение близких в связи с переменой в верхах, то они постепенно исчезали. Никого не выпускали, а, наоборот, аресты продолжались и "черные вороны" по-прежнему носились по темным улицам ночного Ленинграда.

Куракина узнала, что мужа выслали, и, с присущей ей энергией, выхлопотала себе пропуск на свидание с ним в отдаленном сибирском лагере. Оставив детей на попечение матери, в феврале уехала.

Когда же, недели через две, вернулась обратно, измученная тяжелым путешествием и мрачная от всего виденного, то разочарованию ее во всем, чему она верила и перед чем преклонялась, не было предела. К сожалению, так всегда бывает – пока не переживешь на собственной судьбе, сочувствие к бедам других только поверхностное. У Куракиных же оно вообще отсутствовало, так как они до сих пор считали, что советская власть во всем поступает правильно, а вредители и враги народа только подрывают ее основы. Когда же этим врагом народа оказался ее собственный муж, так же, как и она, верный сподвижник Советского государства, то она даже перестала скрывать свои антисоветские настроения.

В том же феврале месяце 1939-го года в Ленинград с семьей служащего немецкого посольства, где она теперь

преподавала русский язык, приехала из Москвы двоюродная сестра Ольга. Я была поражена ее чрезвычайно элегантным видом. Остановились они в Европейской гостинице, куда я, преодолев страх, пошла, чтобы полюбоваться ее заграничным гардеробом и познакомиться с ее покровителями.

Соприкосновение с этим новым для меня миром было полно привлекательности. Ольга, увидав мое восторженное настроение, предложила привезти своих приятелей к нам. Это предложение напугало меня не на шутку. Я умоляла ее не делать ничего подобного, ибо представила себе, в каком ужасе будут все, как моя семья, так и знакомые. Все знали прекрасно, какая опасность грозит тем, кто принимает у себя иностранцев.

Ольга смеялась над моими страхами и уверяла, что мы все преувеличиваем, кстати рассказала, что она уже несколько лет преподает в разных посольствах и консульствах русский язык и ничего и никого не боится.

Ее самоуверенность была напрасной. Через месяц приблизительно после посещения Ленинграда она была арестована и сослана в Сибирь. Только заступничество секретаря немецкого посольства, которому она тоже давала уроки, спасло ее от гибели в Сибирских лагерях. После заключения соглашения между Советским Союзом и Германией, ему удалось добиться ее возвращения в Москву, где мы с ней опять встретились осенью 1940-го года.

После отъезда Ольги, в марте того же года, я сидела одна в нашей с мужем комнате и готовилась к очередному занятию по политграмоте, как вдруг раздался телефонный звонок. Незнакомый голос спросил сначала, кто говорит, а затем попросил позвать к телефону брата Георгия... Пораженная этим, я ответила, что Георгий никогда здесь не жил и что теперь его даже нет в живых.

Незнакомец выразил удивление и огорчение кончиной брата, сообщив мне, что они вместе сидели в тюрьме в Омске и были в большой дружбе.

Спросил, жива ли мать Георгия и попросил позвать ее.

Растерявшись от такой неожиданности, я даже не подумала спросить его имя и фамилию.

Мать, в еще большем волнении, чем я, принялась расспрашивать о тюремном заключении Георгия, о том, за что он был осужден и правда ли, что он расстрелян.

Незнакомец стал утверждать, что Георгий был, так сказать, накануне освобождения, что никакой вины за ним не было и что он его в последний раз видел полтора года тому назад.

Из его слов выходило, что наши сведения о гибели брата были ложными.

Дальше он рассказал матери, что от Георгия же получил наш адрес и телефон в Ленинграде.

Разговор затянулся. Мать продолжала спрашивать о здоровьи и моральном состоянии сына. Так же, как и я, она не сообразила даже спросить фамилию и адрес этого человека.

К концу разговора незнакомец, удостоверившись в правильности нашего адреса, пообещал матери в ближайшие дни зайти и еще подробнее все рассказать.

Этого обещания он никогда не сдержал.

Промелькнуло лето 1939-го года, не принеся ничего нового в нашу жизнь. 21-го августа был заключен договор между Гитлеровской Германией и Советским Союзом. Хотя бы опасность войны, о которой некоторые упорно говорили, сошла на задний план.

Я продолжала заниматься. Это был мой последний год в Институте, и весной должны были быть государственные экзамены, наполнявшие страхом все студенческие сердца. Об этих экзаменах много говорили, и все особенно трепетали перед Возжиным, профессором политических наук. Он был грозой всего Института. В этом году многих лишили стипендий, особенно тех, кто неважно занимался политической экономией, конституцией РСФСР и историей партии.

Мне пока везло. Я была у Возжина на хорошем счету. Старательно записывала его лекции, а дома все свободное

время посвящала изучению истории партии. Не пропускала ни одного собрания, занималась общественной работой. Хотела показать себя активисткой, чтобы только получить необходимый мне диплом.

В ноябре вспыхнула война с Финляндией. До последней минуты никто из нас ничего подобного не подозревал.

Почти с первых же дней появились очереди за продуктами и стал ощущаться недостаток то в том, то в другом. Чтобы получить масло, бежали в очередь чуть ли не в 3 часа утра. За последние годы продовольственное положение как-то стабилизировалось, теперь же сразу начались во всем перебои.

В городе царило полное затемнение. Многие обзавелись маленькими светящимися фонариками, в виде пуговиц, которые укреплялись на пальто.

Часто слышалась стрельба из дальнобойных орудий. Темное ноябрьское небо освещалось ракетами.

В Институте занятия были вечерними, дневных смен не было. Приходилось идти в полном мраке, чуть не ощупью, остерегаясь, главным образом, маленьких хулиганов, которые, как крысы, шныряли по улицам, стараясь чем-нибудь поживиться у редких прохожих.

Я перестала брать с собой сумку, а в портфеле носила только учебные книги. Все окна в Институте были завешаны синей плотной бумагой. Расходы на электричество старались сократить, и поэтому в классах и коридорах горели маловатные лампочки, при которых было трудно заниматься. Мы все покорно переносили лишения и неприятности в надежде на скорое окончание войны.

Время было крайне напряженным. Новый Год никто не праздновал. Как-то в начале января, когда я опять сидела одна в своей комнате, зазвонил телефон. Незнакомый голос спросил мужа, который еще не вернулся с работы. После моего ответа и вопроса, кто со мной говорит, незнакомый субъект, не назвав себя, сказал, что позвонит еще раз сегодня вечером.

Этот незнакомый глухой голос смутно напомнил мне тот, который ровно год назад смутил нас с матерью рассказами о дружбе с братом.

Я повесила трубку с тяжелым, неприятным чувством. Кто мог звонить, не называя себя и не оставив никакого поручения, кроме предупреждения, что позвонит в тот же вечер еще раз?

Муж вернулся через полчаса после подозрительного звонка.

Когда я ему рассказала о телефонном вызове, он, как мне показалось, переменился в лице, но небрежно ответил, что это, по всей вероятности, кто-либо из членов ЖАКТ'а, которые никогда не находят нужным, как бы полагалось, оставлять свое имя.

Это его объяснение мне показалось совсем неубедительным. Видимо, он старался меня успокоить, сам же был взволнован не меньше меня. Спустя полчаса раздался опять звонок. На этот раз муж подошел сам. Я прислушилась к его односложным ответам и сразу заметила его изменившееся лицо.

Разговор продолжался недолго, он что-то записал и, видя мой недоумевающий взгляд, сказал: "Я же тебе говорил, что это звонили из ЖАКТ'а. Все по поводу собрания, которое назначено на завтра. Милиция составила акт о плохом затемнении нашего дома".

Мне не оставалось ничего другого, как поверить этому объяснению.

С этого дня над нами нависла страшная угроза, которую муж, оказывается, давно ожидал.

Телефонные звонки стали регулярно повторяться.

Я уже великолепно знала этот неприятный, глухой голос.

Никогда не спрашивая имени, я только передавала мужу то, что сказал незнакомец. Обычно бывало все то же самое, он говорил, что позвонит вторично в таком-то часу.

С мужем на эту тему я старалась не говорить и не рас-

спрашивать, ибо он всегда отделывался ничего незначащими ответами.

К поздним возвращениям мужа с работы, особенно в начале каждого года, когда подавались годовые отчеты, мы все привыкли и не беспокоились, но теперь была уже весна, все отчеты давно закончились, а служебные задержки регулярно продолжались, особенно на другой день после телефонных вызовов "безымянным" субъектом.

Я долго терпела. Наконец, когда муж пришел особенно поздно с каким-то изможденным, совершенно больным видом и в повышенно-нервном настроении, я не выдержала. Стала умолять его разделить со мной причину его исчезновений и отчаянного состояния, которое бросалось в глаза.

После разговора с ним, я узнала то, о чем втайне догадывалась. НКВД взялось за мужа, чтобы сделать из него осведомителя. Поручали ему круг наших близких друзей и знакомых. Всеми средствами и силами он старался доказать свою полную неприспособленность к подобной деятельности, ссылаясь, как на отсутствие широкого круга знакомых, так и на безумную занятость по службе. Но... подобные отговорки на них мало действовали, и его не оставляли в покое до начала второй мировой войны, когда они занялись, по-видимому, еще более важными вопросами. Мы с мужем, как ни парадоксально это звучит, в первый раз после длительного страдания, вздохнули с облегчением.

Все же война казалась нам меньшим злом, чем НКВД.

Только в марте 1940-го года война с Финляндией закончилась позорным для Советского Союза миром. Финляндия яростно сражалась все месяцы, уничтожая всеми путями советских бойцов. Везде и всюду были заложены мины, даже в детских постелях, под видом спящих детей. Красноармейцы, заходя в финские дома захваченной деревни, не знали откуда ожидать опасности. Деревни обычно пустовали, но какой-нибудь старик на печи, ре-

бенок в люльке или мальчишка на дереве — мог представлять смертельную опасность.

За свою маленькую страну сражались все "от мала до велика", всеми методами и средствами. Чего, чего только не рассказывали вернувшиеся домой бойцы.

Брат мужа, один из немногих выпущенных из тюрьмы до начала войны, был призван в Красную Армию, и провел всю кампанию в Финляндии. Командному составу (к которому он принадлежал) отпускали специальные светлые полушубки, отличавшиеся от обмундирования простых красноармейцев. Финские снайперы с деревьев, с крыш домов и других возвышений целились именно в командный состав и, будучи прекрасными стрелками, многих таким образом уложили. Положение Советского Союза было неутешительным, и наше правительство охотно согласилось на предложенное перемирие, чтобы не жертвовать своим военным составом, который и так уже тяжело пострадал от процесса над Тухачевским и другими командирами Красной Армии в 1937-м году.

Для населения конец войны был большим облегчением. Загорелись всюду огни, оживился город, продовольственное положение улучшилось. У нас воцарилось временное спокойствие, между тем, как весь запад был охвачен все разраставшимся пожаром войны.

Узнали о капитуляции Парижа, о победоносных войнах Гитлера, но за себя были спокойны, зная о дружбе между нашими государствами и твердо веря, что эта дружба останется неприкосновенной.

В мае мне удалось блестяще окончить экзамены, отличившись особенно в политических науках и вызвав бурное одобрение Возжина, ставившего меня в пример другим. Из-за этого обстоятельства чуть не произошел разрыв с моим единственным одноклассником мужского пола, Милорадовичем, который считал, что только мужчины могут хорошо знать политику и что женщина ни в коем случае не может занять первого места. Выданный мне аттестат комиссии "отлично с отличием" поверг моего

коллегу в крайнее возмущение, и он даже несколько дней не хотел со мной разговаривать. Мне это было очень неприятно, так как я совсем не хотела вызывать зависть и выделяться, а главное я была очень благодарна этому Милорадовичу. В первый год моего поступления в Институт он очень помог мне перескочить через один курс, чтобы не терять так много времени на учение, ибо мне уже было за тридцать и я стремилась, как можно скорее стать на ноги. Я была поручена ему в то время в виде "общественной нагрузки", и он охотно уделял мне несколько часов в неделю, чтобы заниматься со мной всеми предметами, и особенно политическими, в которых он был весьма силен. Теперь история с экзаменами свела его на второстепенное положение, и он не на шутку обиделся. Хотя мне и удалось до некоторой степени наладить наши отношения, но окончательный мир был восстановлен только после начавшейся в 1941-м году войны с Германией. Мы были с ним одинаковых политических убеждений и оба в то время надеялись, что война освободит нас от длившегося столько лет террора.

В июне мы переехали на дачу на Кирпичный завод, где Текстильный Комбинат снял целый дом для своих сотрудников. В это лето мы близко сошлись с Холмянскими (он был техническим директором комбината), о трагической судьбе которых я рассказала в моей книге "Блокада Ленинграда". Тогда еще никто не предвидел того, что случится через год, и мы все дружно и весело проводили лето в приятной компании и красивой местности. В тот год было невероятное количество грибов, и мы почти ежедневно всем домом отправлялись в лес в высоких сапогах и рабочих комбинезонах, так как кругом было много болот.

Общими любимцами были мой маленький Георгий и Додик Холмянский – красивый студент лет 20. Я даже подсмеивалась над моей матерью, которой уже было за 70, что Додик – ее последняя любовь. Кстати, она даже не отрицала этого и впоследствии, когда во время второй

мировой войны этот очаровательный молодой человек со своей частью попал в окружение, что для него, как еврея, представляло неминуемую гибель, моя мать остро переживала за него.

Я очень дружила с Холмянской – красивой, веселой сорокалетней женщиной.

В конце августа мы с мужем и нашим старшим сыном поехали на неделю в Москву к Софроницким. Елена Александровна жила постоянно в Москве с прелестной трехлетней дочерью Роксаной. Муж же Елены, пианист Софроницкий, о котором я уже рассказывала, с сыном Сашей имел свою квартиру в Ленинграде. Супруги не были разведены, но жили порознь, навещая друг друга.

В этот год мы хотели осмотреть знаменитую московскую выставку, о которой так много говорили, и впервые познакомиться с московским метро. То и другое произвело большое впечатление. За один день выставку невозможно было осмотреть, и мы ездили ежедневно, восхищаясь прекрасно оборудованными павильонами и обилием всевозможных вещей и продуктов, от которых глаз давно отвык. Видимо, здесь, как везде и всюду, была знаменитая "показуха" – поразить иностранцев, посещавших выставку.

Раз я направилась одна походить по улицам Москвы. Выйдя на Никитскую, которая кишела народом, услышала пронзительные свистки милиционеров. В мгновенье ока шумная улица опустела. Не понимая еще в чем дело, я продолжала идти по тротуару, когда налетевший на меня милиционер грубо схватил за руку и втолкнул в какую-то подворотню. Там уже стояло несколько человек, подобных мне пешеходов. Удивленная всем происходившим, я спросила, не война ли опять? Стоявший рядом со мной человек молча указал мне на ряд машин, быстро мчавшихся по Никитской. Их было шесть, все черные, совершенно одинаковые лимузины. Не бывая в Москве и в первый раз попав в такую историю, я попросила у соседа разъяснений. Оглядываясь по сторонам,

со всеми предосторожностями, он мне шепнул, что в одной из этих машин едет Сталин и, когда он проезжает по улицам, не только мостовая, но и панели должны быть свободны от народа.

В этот приезд мы навестили и двоюродную сестру Ольгу, вернувшуюся из Сибири и рассказавшую нам всевозможные истории, пережитые ею в тюрьме и ссылке. На ее счастье, друг и ученик ее, господин фон Вальтер, был настолько влиятелен и энергичен, что смог извлечь ее из этого ада.

В тяжелых лагерных условиях одно обстоятельство, до известной степени, помогло ей. Она была способнейшей рассказчицей, что было случайно обнаружено окружавшими ее убийцами, ворами и проститутками. Сначала они приняли ее "в штыки". Красивая, элегантная молодая женщина вызывала у них чувство лютой ненависти. Благодаря своей связи с иностранцами, Ольга в Москве выделялась своей одеждой, привозимой ей учениками — служащими всевозможных посольств из-за границы. Захваченная врасплох непредвиденным арестом, она так и покинула свою московскую квартиру в котиковой шубке и туфлях на высоких каблуках. Этот несоответствующий обстановке костюм привлек на нее внимание всех этих заключенных и вызвал бурю возмущения среди окружающих ее женщин.

Ольга потеряла всякую надежду остаться в живых в этих страшных условиях ссылки. Но вот однажды вечером одна из самых отчаянных арестанток, преследовавшая ее на каждом шагу, спросила, может ли Ольга рассказать что-либо из своей жизни, дабы скоротать долгий зимний вечер.

Успех был полный. Все эти грубые, грязные, изможденные каторжным трудом женщины, не прерывая, слушали рассказы из другого, незнакомого им мира. Ольга перерассказала им все, не только из своей собственной жизни, но и из жизни друзей и знакомых, из произведений всех известных ей авторов. Настроение по отношению

к ней всех этих подонков общества (в камере было только несколько, осужденных подобно Ольге, по 58-й статье, остальные же все были бытовиками – преступный элемент) изменилось на 100%.

Женщины стали ей помогать в чем только могли в течение дня, а вечерами окружали ее в полутемном бараке и жадно слушали до часа отбоя, когда охрана врывалась в помещение и криком и угрозами требовала полной тишины.

Ольга опасалась одного, чтобы запас ее историй не иссяк, тогда не ждать бы ей пощады от этой орды.

Вскоре до нее стали доходить пакеты, посылаемые друзьями. Наличие в этих посылках папирос и других редкостей, в дополнение к ее рассказам, поддерживало ее авторитет среди ссыльных.

Так она пережила этот год и вернулась в Москву, где стараниями ее друга ей была приготовлена небольшая, но, главное, отдельная квартира.

(С этим ее другом, бывшим секретарем немецкого посольства в Москве, а впоследствии послом, мне удалось встретиться 25 лет спустя в Бонне. О нем я узнала из из книги Хариссон Солсбери "900 дней" о блокаде Ленинграда. Так как бывший секретарь посольства после войны был назначен послом в Советский Союз от Западной Германии, то Х. Солсбери, работая над книгой о блокаде, познакомился с ним и упомянул об этом в одном примечании своего произведения. Списавшись с Солсбери, я узнала, о ком идет речь, и, будучи в Германии, встретилась в Бонне с господином фон Вальтер. Вот тогда он мне рассказал как о своих хлопотах по спасению Ольги и переговорах по этому поводу с высшими представителями Советского Союза, так и забавный случай, характеризующий Ольгу. По возвращении из ссылки, в тот же день, она отправилась к парикмахеру. В том виде, в котором она вернулась, она не хотела показаться тому, кому была обязана своим спасением).

К началу занятий, в сентябре, мы были в Ленинграде.

Окончивших Институты и Университеты посылали на разные работы, в некоторых случаях даже в отдаленные сибирские города. Весь наш выпуск был вызван в Педагогический Институт. Я тоже получила распоряжение выехать в Уфу. На первых порах я совсем растерялась. Возражать было трудно, ибо я все годы получала стипендию, а стипендиаты должны были отработать эту государственную помощь и принять любое назначение. Что было делать? Муж работает в Ленинграде, и не могло быть и речи о его переводе в провинцию. В те времена в Советском Союзе менять по собственному желанию место работы не полагалось. Дети, мать — все в Ленинграде, а я должна была ехать в полную неизвестность и жить в разлуке с близкими. Ломала голову, как выйти из создавшегося положения. Снова выручила Колонтырская. Муж рассказал ей о той катастрофе, которая нас ожидала, и она предложила зачислить меня в Текстильный Комбинат, дав мне на руки требование, которое я могла предъявить комиссии. Ее имя сыграло магическое действие. Что она там написала в закрытом конверте, который я передала, не знаю, но в тот же день я была освобождена, к глубокой зависти моих коллег, некоторые из которых попали в самые дальние города и местечки Сибири. Впоследствии же оказалось, что многим из них судьба улыбнулась, заслав их так далеко от попавшего в блокаду Ленинграда. Им не пришлось пережить ни страшного голода, ни бомбардировок и обстрелов, которые пали на нашу долю, и многие из них выписали свои семьи за Урал, благодаря чему все были спасены.

Это же могло случиться со мной и моими близкими.

Единственно, тогда я бы до сих пор оставалась гражданкой Советского Союза и никогда бы не познала свободы, которая является самым главным и лучшим в жизни человека.

В мае 1941 года муж получил назначение в занятую Советами Нарву. Все мы с радостью и надеждой попасть

в бывшую "Заграницу" ждали решения этого вопроса.

За неделю до 22-го июня наши паспорта были переданы по назначению и отъезд являлся только вопросом дней.

Суждено было иначе.

22-го июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

Красная Армия, обезглавленная чистками, процессами и расстрелами 1936-го и последующих лет, вступила в войну с сильным противником – Гитлеровской Германией, что перевернуло и всю нашу жизнь.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Издательство "АЛЬМАНАХ" будет искренне признательно читателям этой книги за их отзывы и пожелания.

Пишите нам по адресу:

ALMANAC - Press
P.O. Box 480264
Los Angeles, CA 90048

$ 7.00

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АЛЬМАНАХ"

1. Лев Халиф – ЦДЛ – Центральный дом литераторов.

Автор, бывший член Союза советских писателей, живущий сейчас в Нью-Йорке повествует о нравах и жизни писателей в СССР, о гибели многих талантливых писателей и незаслуженном признании бездарности и посредственности. "Мы–интернациональная страна, здесь всем досталось". Об этом и многом другом узнает читатель из книги Льва Халифа.

9.60

2. Антология "Недозволенный смех"
/Анекдоты из СССР/

Издание включает в себя русский и английский тексты, являясь ценным пособием при изучении языка.

/составитель А.Лиф и др./ 6.50

ЗАКАЗЫ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

"ALMANAC"
P.O. Box 480264
Los Angeles, Ca 90048